

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

Рождественские сказки

Гофмана

Щелкунчик

и другие
волшебные
истории



КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Подарочные издания. Иллюстрированная классика

Эрнст Гофман

**Рождественские сказки
Гофмана. Щелкунчик и
другие волшебные истории**

«Алисторус»

1800–1820

УДК 821.112.2
ББК 84(4Нем)

Гофман Э. Т.

Рождественские сказки Гофмана. Щелкунчик и другие волшебные истории / Э. Т. Гофман — «Алисторус», 1800–1820 — (Подарочные издания. Иллюстрированная классика)

ISBN 978-5-907211-65-0

Творчество Гофмана состоит из нерушимой связи фантастического и реального миров, причудливые персонажи соединяют действительность с мистикой, повседневную жизнь с призрачными видениями. Герои писателя пытаются вырваться из оков окружающего их мироздания и создать свой исключительный чувствительный мираж. Сочинения Гофмана пронизаны ощущением двойственности бытия первых десятилетий XIX века, мучительного разлада в душе человека между идеалом и действительностью, искусством и земной жизнью. Достоинство истинного творца, каким и был Гофман, не может смириться с непрестанной борьбой за кусок хлеба, без которого невозможно человеческое существование.

УДК 821.112.2

ББК 84(4Нем)

ISBN 978-5-907211-65-0

© Гофман Э. Т., 1800–1820

© Алисторус, 1800–1820

Содержание

Фантазии великого сказочника	6
Щелкунчик и мышиный король	21
Сочельник	21
Подарки	23
Любимец	25
Чудеса	29
Сражение	34
Болезнь	38
Сказка о крепком орехе	40
Продолжение сказки о крепком орехе	46
Конец сказки о крепком орехе	51
Дядя и племянник	57
Победа	59
Кукольное царство	64
Столица	68
Заключение	73
Золотой горшок	76
Вигилия[5] первая	76
Вигилия вторая	79
Вигилия третья	87
Вигилия четвертая	90
Вигилия пятая	94
Вигилия шестая	99
Вигилия седьмая	103
Вигилия восьмая	107
Вигилия девятая	112
Вигилия десятая	118
Вигилия одиннадцатая	122
Вигилия двенадцатая	126
Маленький Цахес, по прозвищу Циннобер	129
Глава 1	129
Конец ознакомительного фрагмента.	130

Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рождественские сказки Гофмана.
Щелкунчик и другие волшебные сказки

© Вострышев М.И., состав, комментарий, 2019

© ООО «Агентство Алгоритм», 2019

Фантазии великого сказочника

Творчество Гофмана состоит из нерушимой связи фантастического и реального миров, его причудливые персонажи соединяют действительность с мистикой, повседневную жизнь с призрачными видениями. Герои писателя пытаются вырваться из оков окружающего их мироздания и создать свой исключительный чувствительный мираж. Сказки, рассказы, повести, романы Гофмана пронизывает ощущение двойственности бытия первых десятилетий XIX века, мучительного разлада в душе человека между идеалом и действительностью, искусством и земной жизнью. Достоинство истинного творца, каким и был Гофман, не может смириться с непрестанной борьбой за кусок хлеба, без которого невозможно человеческое существование.

Гофман, несомненно, один из самых юмористичных и ироничных писателей в немецкой литературе. Его юмор, склонность его к насмешливому гротеску вовсе не были только литературным приемом. Это была позиция писателя по отношению к жизни и к людям. За смехом, язвительным и агрессивным, писателю с трудом удается скрыть глубокое внутреннее отчаяние. Он жил только своим искусством, и только с ним шел по жизни. Гофман писал своему другу Гиппелю: «Тому, что в моей черепной коробке порой происходит нечто эксцентричное, я, по здравом размышлении, не радуюсь – эта эксцентричность роняет меня в глазах окружающих, и люди, привыкшие раскладывать все по полочкам и взвешивать на аптечных весах, порой хотели бы поставить передо мной свой ортодоксальный шлагбаум или надеть мне на шею свой официальный хомут».

Гофман превращает унылую повседневность в сказочную феерию, заурядных людей – в магов и кудесников. Душный мещанский мирок преобразуется в волшебную музыкальную симфонию, между небом и землей рушатся преграды, отвратительная атмосфера чиновников сменяется гимном духовному мирозданию.

«Пиковая дама» Пушкина, «Нос» Гоголя, «Двойник» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова – над всеми этими произведениями русских писателей незримо витает тень великого немецкого сказочника.

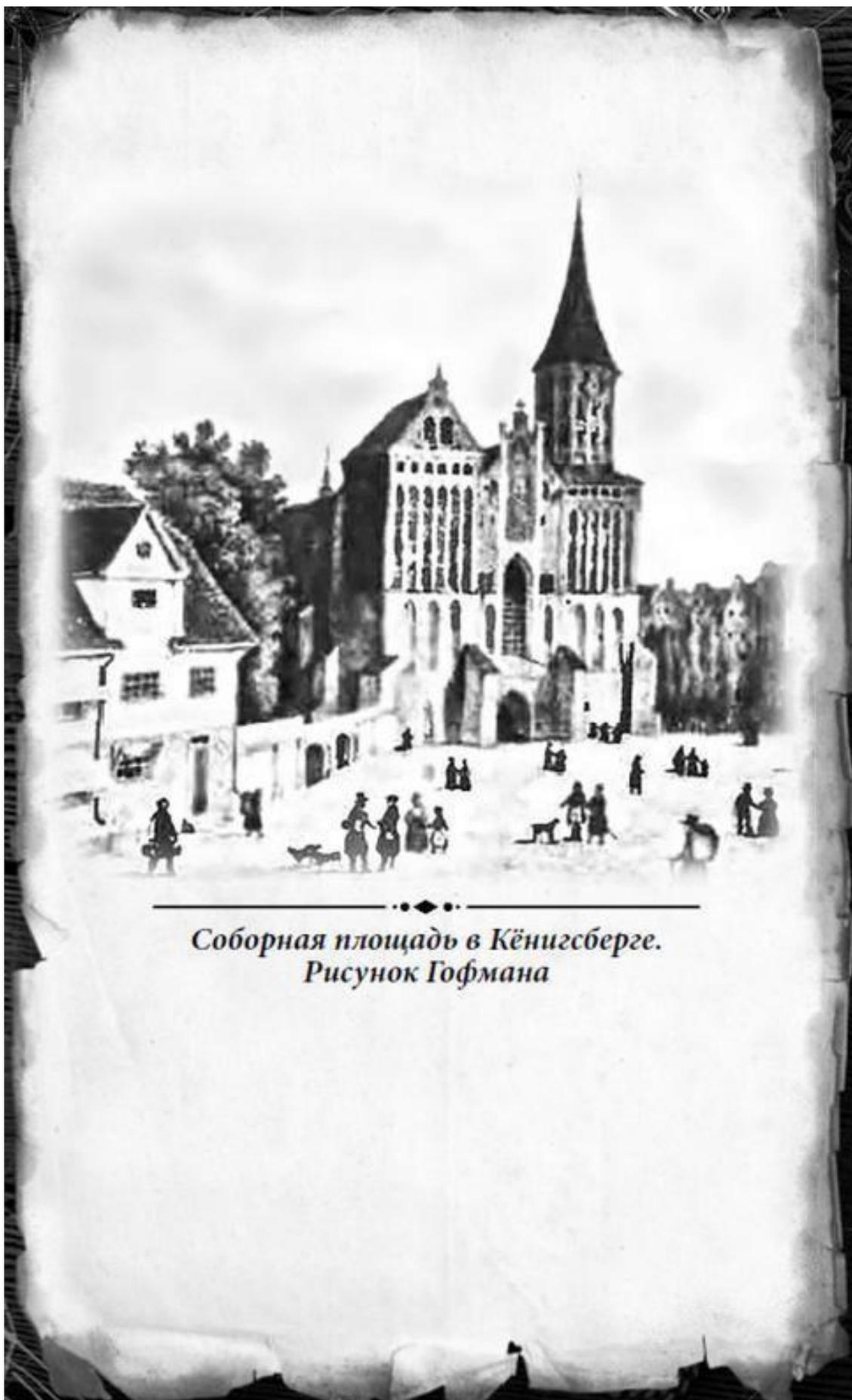
В городе Кёнигсберге, ставшим в XVIII веке резиденцией прусских королей, в семье адвоката королевского суда 24 января 1776 года родился Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, теперь известный как Эрнст Теодор Амадей Гофман. Свое третье имя, полученное при крещении, уже в зрелом возрасте Гофман сменил на Амадея в честь Вольфганга Амадея Моцарта – композитора, перед творчеством которого он преклонялся.

Вскоре после рождения Эрнста его родителей расстались, мать с двухлетним Эрнстом возвратилась в дом своих родителей Дёрферов, где он и прожил первые два десятилетия на попечении педантичной бабушки и беспечного дяди. Мать не принимала никакого участия в воспитании сына, и ее смерть в 1796 года оставила сына равнодушным. Уже став взрослым мужчиной, Гофман не раз сетовал, что у него в детстве не было настоящей семьи.

Своему ближайшему другу Теодору Гиппелю он в 1806 году напишет: «Что за родственников дала мне судьба! Были бы у меня отец и дядя, как у тебя!.. Ты был окружен своей семьей, у меня же не было семьи. Тебе предстоит жить и восходить вверх ради государства, меня же сковывает жалкая посредственность, в которой я могу пропасть».

С малых лет Эрнст испытывал чувство одиночества в мире, его преследовали мистические видения. В девять часов вечера мальчика отправляли спать. Со свечой в руке он проходил на цыпочках по пустынным комнатам, быстро скользил мимо зеркал, потому что, если дети, ложась спать, смотрят в зеркало, то им могут присниться страшные рожи. Старая служанка очень часто уверяла его в этом. Лежа в постели, он прислушивался к малейшему шуму: потрескиванию мебели или шороху мыши. С церковных колоколен доносился бой часов...

Пробило, наверное, полночь. Из соседней комнаты приближаются тяжелые шаги. Это призрак или страшный Песочный человек, выкалывающий глаза маленьким детям, которым пугали его домашние, чтобы он быстрее заснул. Но получалось наоборот. Эрнст прятал голову под одеяло и долго лежал без сна, разговаривая с призраками.



*Соборная площадь в Кёнигсберге.
Рисунок Гофмана*

Шли годы, впечатлительный талантливый мальчик многому научился. Уже подростком он свободно играл импровизации на органе, клавире, скрипке, хотя системного музыкального образования не получил. Много и талантливо рисовал, особенно ему удавались шаржи и карикатуры. Появилась страсть к чтению. Европейская литература пополняется новыми именами Руссо, Вольтера, Гете, Шиллера, их книги с упоением читает кёнигсбергский юноша. Но особое восторженное впечатление, как и на многих других современников, на Гофмана произвел роман Карла Гроссе «Гений» (1791 год): «Было одиннадцать часов, когда я отложил книгу в сторону. Кипение бесчисленных страстей оглушило и парализовало мой рассудок... В состоянии, одинаково далеком от сна и бодрствования, я лежал на моей кровати; легкое шуршание – словно порыв ветра пронесся по моей комнате – заставило меня очнуться, и я узрел своего Гения...»

Родным домом для него стал театр, неподалеку от которого прошла его юность. Здесь с восторгом и восхищением впервые услышал он моцартовского «Дон Жуана», познал все очарование подмостков, заключавших в себе целый мир.

Эрнст получил юридическое образование в Кёнигсбергском университете и сдал в 1795 году экзамен на государственного судебного следователя при кёнигсбергском окружном управлении.

В июне 1796 года Гофман покинул Кёнигсберг. Теперь лишь время от времени ненадолго он будет посещать родной город. Два последующих года он провел в городе Глогау, в Силезии, где поселился у своего дяди Иоганна Людвиг Дёрфера, занимавшего должность советника в городском суде. В доме дяди часто устраивались музыкальные концерты, в которых непременно участвовал и племянник. В Глогау Гофман также серьезно увлекся живописью.

В июне 1798 года, через несколько месяцев после обручения с кузиной Минной Дёрфер, Гофман сдал экзамен на референдария (должностное лицо, принимавшее жалобы от частных лиц и передававший их содержание канцлеру) и переехал жить в прусскую столицу Берлин. По-настоящему большой немецкий город с населением около 200 тысяч человек к этому времени находился в периоде экономического процветания. Здесь царила пестрая смесь нищеты и богатства, были выставлены напоказ великолепие и убожество. Гофман с комфортом проводил свое время в богатой квартире родственников Дёрферов и в апелляционном суде, общаясь, в основном, в кругу зажиточных людей. Берлин захватил молодого юриста в свой водоворот жизни. Он посещает концерты, театры, музеи, общества художников; вхож в литературные, музыкальные, оперные круги, берет уроки музыки у композитора Иоганна Фридриха Райхардта. Он получил доступ и на берлинскую театральную сцену, сближается с людьми театрального мира, становится постоянным посетителем Национального театра и Королевского оперного театра, где ставят оперы Моцарта и знаменитых итальянских композиторов. Гофман начинает сам потихоньку сочинять музыку, рисовать пейзажи, ведет путевой дневник. Он формулирует собственный эстетический принцип: разум не должен сковывать фантазию.

Гофман как капельмейстер (руководитель хоровой капеллы) и композитор сумел проявить себя уже в 1790-х годах. В 1799 году он сочиняет несколько песен для гитары и пишет зингшпиль «Маска» (его первое большое сохранившееся до наших дней музыкальное произведение).

В мае 1800 года после сдачи экзамена на звание асессора Гофмана перевели в Верховный суд в Познань. Этот один из старейших городов Польши лишь семь последних лет принадлежал прусской короне, и прусская администрация проводила здесь жесткую политику германизации. Гофман сразу почувствовал солидарность с не сломленным вопреки всему национальным духом поляков – черта эта нередко проявлялась в его литературных произведениях.

Сослуживец Гофмага Хитциг вспоминал: «Поступление на службу в бывшие польские провинции для каждого молодого человека не слишком строгих правил таило в себе большую

угрозу, поскольку он спешил тогда изведать в жизни всего... Этому способствовали обычаи страны, согласно которым ты вынужден пить везде, куда бы ни ступила твоя нога, и притом пить крепчайшее венгерское вино, без которого не обходится ни один поляк».

Гофман, живший раньше всегда под надзором родственников, в полной мере использовал представившуюся ему возможность перейти через край дозволенного. Он называл свои попойки с сослуживцами «чрезвычайно веселым братством». Хотя не все свободное время он уделял бражничеству, он сочинил музыкальную комедию, которая с успехом шла на сцене местного театра. Время, которое Гофман провел в Познани, дало ему возможность стать самостоятельным, почувствовать свободу. Он стал, по его собственному выражению, «тем, кого тетки и дядя, учителя и священники называют беспутным малым».

Через четыре месяца после расторжения в марте 1802 года помолвки с нелюбимой Минной Дёрфер Гофман обвенчался с Михалиной Рорер-Тщцинской (Мишей). В это же время за карикатуры на познаньских прусских высокопоставленных чиновников, которые появились в городе и переходили из рук в руки, ему пришлось расстаться с хорошо оплачиваемой должностью и вместе с молодой женой покинуть Познань.

Жить молодоженам предстояло «в изгнании» в древнем городе на Висле – Плоцке. Пережив в далеком прошлом эпоху своей исторической значимости, этот город пришел в запустение и упадок. Это было место, где «умирает всякая радость, где я погребен заживо». Нелюбимая профессия вынуждает Гофмана ежедневно вершить суд над неимущими поляками и евреями, нищетой превращенными в воров и укрывателей краденого. Он, однако, относился к профессии юриста чрезвычайно серьезно: единодушные свидетельства современников представляют его как исполнительного, корректного и проникательного чиновника. В свободное от службы время Гофман сочиняет церковную музыку, и кое-что из его творчества исполняется в местных храмах. Он изучает теорию музыки, рисует портреты и копирует росписи этрусских ваз.



В апреле 1804 года пришел конец испытаниям. Благожелательные берлинские друзья добились перевода опального государственного советника в прусский Верховный суд в Варшаве. С глубоким облегчением покидал Гофман ненавистный Плоцк, томительное пребывание в котором сумел выдержать лишь благодаря терпению и ласки молодой жены, любви к искусству и наличию вина в местных трактирах.

Гофман, как отзывался о нем в декабре 1805 года начальник окружного управления фон Данкельман, был «постоянно усерден, умел и деловит». В Варшаве, будучи материально обеспеченным благодаря своему заработку государственного советника, он нашел досуг и вдохновение, чтобы развивать собственные художественные наклонности. Встречи с интересными людьми тоже весьма способствовали тому, что быстро пролетевшие годы пребывания в Варшаве стали одним из столь редких в жизни Гофмана счастливых периодов. Сочинение музыки становится его любимым досугом. Он приобретает в Варшаве славу искусного музыканта, устроителя музыкальных вечеров. Его комические оперы ставились на сцене Варшавского театра, он выступал и как дирижер.

В январе 1807 года по дороге в Познань почтовая карета, в которой отправилась к родителям Михалина Гофман с двухлетней дочкой Цецилией, опрокинулась. Девочка погибла, а Михалина получила серьезное ранение в голову. Когда Гофман узнал об этой трагедии, с ним случилась нервная горячка, сопровождавшаяся несколькими приступами безумия.

В середине июня 1807 года в возрасте тридцати одного года Гофман покидает Варшаву, где снискал первые успехи как художник и композитор и, наконец, пережил временное завершение ненавистной чиновничьей карьеры. Внешние обстоятельства подтолкнули его к этому шагу: французские власти потребовали от оставшихся прусских чиновников принесения присяги на верность Наполеону. В противном случае они должны покинуть Варшаву в течение недели. Гофман отказывается принести присягу.

В нужде и почти в голоде около года он прожил в Берлине. Но еще никогда Гофман не имел столько свободы. Но его в тоже время наполняют вновь беспокойством вернувшись, некогда в детстве и юности пережитые страхи. И он учится, по собственному признанию, «бороться с самим собой». Гофман не имел в будущем ничего определенного – одни только расплывчатые перспективы, планы, обещания, надежды. У него не было денег, и приходилось брать в долг у знакомых.

Наконец в начале сентября 1808 года он переезжает в город Бамберг в Южную Германию, где ему предложили должность капельмейстера местного театра. Именно здесь Гофман понял, что именно слово раскрывает перед ним возможность выразить любовь и презрение, свой причудливый юмор, все свое существо, все то, что глубоко его затрагивало. В пятилетний бамбергский период жизни Гофман всецело посвятил себя искусству, пристрастился к таинственному и мистическому творчеству.

Духовная жизнь города несла на себе глубокий отпечаток католицизма в соприкосновении с романтическими устремлениями. Здесь Гофман изучил старинную церковную музыку Палестрины, Марчелло, Лео, Дуранте, здесь сочинил свое самое обширное и талантливое музыкальное произведение «Misereere» для солистов, хора и оркестра (1809 год). При Гофмане достиг своего наивысшего расцвета Бамбергский театр, в работе которого он участвовал как театральный композитор, декоратор и драматург.

Навсегда покидая в апреле 1813 года город на Регнице, он среди скудной дорожной поклажи увозил и наброски новых литературных произведений. Потом были Дрезден и Лейпциг, где он занимал должность музыкального директора оперной труппы Йозефа Секонды. Сначала была радость, рожденная ощущением, что он справляется со своей задачей. Но рутинная повседневная работа приглушила ощущение успеха. Три раза в неделю спектакль, четыре раза – репетиция, постановки менялась почти еженедельно. Обычно давали проверенные временем популярные вещи. Становилось скучно.

Больше теперь его привлекало литературное творчество. Писательский дебют состоялся в 1809 году, когда в Лейпциге во «Всеобщей музыкальной газете» появилась его рассказ «Кавалер Глюк». С тех пор он все более утверждает себя как писатель. Рассказы посыпались как из рога изобилия. К работе в театре он уже относился как к второстепенному занятию, и директор Секонд в конце февраля 1814 года уволил его.

Гофман проживал оставшиеся деньги и думал, как устроить свое будущее. Зарабатывает на жизнь, рисуя карикатуры на Наполеона и проводимую им политику, и сочиняет рецензии для «Всеобщей музыкальной газеты». Он советуется с друзьями о возможности восстановиться на государственной службе. В марте 1814 года писатель начинает писать роман «Эликсиры сатаны». Большой успех принесли Гофману два первых тома «Фантазий в манере Калло», вышедшие в начале мая 1814 года (Жак Калло – французский живописец XVIII века, прославился гротескными гравюрами).

С сентября 1814 года Гофман вновь поселился в Берлине. В городе, уставшем от войн, начинают процветать оккультные науки. Снова входят в моду всевозможные суеверия, бесчисленные мистические секты находят множество восторженных последователей. Это увлечение зашло так далеко, что в Берлинском университете были учреждены две кафедры, посвященные изучению животного магнетизма (согласно этому учению, люди выделяют особого рода магнитную энергию, которая позволяет им устанавливать телепатическую связь друг с другом).

Премьера оперы Гофмана «Ундина» состоялась в Берлинском Национальном театре 3 августа 1816 года, в день рождения короля, что дополнительно придало значение этому событию и привлекло к нему особое внимание. Музыка понравилась публике, но критики отозвались о ней сдержанно. До лета 1817 года опера выдержала четырнадцать представлений. По условиям того времени это было много. Намеревались и дальше сохранять оперу в репертуаре. Однако 27 июля 1817 года состоялось последнее ее представление, поскольку спустя два дня театр сгорел дотла.



Карикатура Гофмана на самого себя

«Гофманиада» – российский полнометражный кукольный мультфильм студии «Союзмультфильм» (режиссер Станислав Соколов, сценаристы Станислав Соколов, и Виктор Славкин, главный художник Михаил Шемякин, композитор Шандор Каллош, аниматоры Алла Соловьева и Ольга Панокина). Мультфильм снят по мотивам четырех сказок Эрнста Теодора Гофмана: «Золотой горшок», «Песочный человек», «Щелкунчик и мышинный король» и «Маленький Цахес, по прозвищу Циннобер». Главным героем «Гофманиады» стал сам немецкий сказочник. В фильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в реальной жизни в качестве государственного служащего

Мультфильм находился в стадии производства на протяжении 17 лет – с 2001 года по 2018 год. «Гофманиада» стала первым полнометражным фильмом киностудии «Союзмультфильм», вышедшим в прокат за последние тридцать лет.

Премьера мультфильма прошла в московском кинотеатре «Иллюзион» 9 октября 2018 года.



Музыка продолжает оставаться центром жизни Гофмана, ей он посвятил многочисленные глубокие эссе, рецензии, которые он публиковал под именем Иоганн Крайслер. Именно благодаря музыке он нашел себя и как писатель. И литературное творчество постепенно выходит на первый план.

Днем в суде чиновник Гофман разбирает дела мелких воришек, в ночные часы писатель Гофман за рюмкой вина в трактире пишет фантастические новеллы, создает искусственный

рай и населяет его сказочными персонажами. Гофман охотно принимал предложения издателей, поскольку испытывал в то время серьезные денежные затруднения. В апелляционном суде, куда его приняли на службу, он пока не получал жалованья. Ему лишь выдали единовременное пособие в размере 200 рейхсталеров.

Лишь в апреле 1816 года Гофман получает должность советника апелляционного суда с хорошим жалованьем. Он стонал под тяжестью судейского жребия, однако, несмотря на это, серьезно относился к профессии юриста. Он получил уважение в обществе, занимает престижную квартиру на Жандармском рынке, дорого одевается, тратит немалые деньги на пирушки в заведении «Люггер и Вегнер» и на обеды в ресторане «Дитрих».

Фантастика вторглась в жизнь Гофмана. Он окружает себя атмосферой, в которой чувствуется присутствие дьявола. Уверенный в могуществе своего колдовства, писатель начинает создавать фантастических персонажей и повелевать ими на листе бумаги. Он творит кошмары, которые волнуют читателей больше, чем реальные события. Музыка и необузданное воображение помогают ему превращать реальность в мистику и чертовщину. Лишь бы самому не потерять рассудок в этом океане мистификаций!

Издатели охотно печатали все, что выходило из-под пера Гофмана. Штефан Шютце, редактировавший в Веймаре «Карманную книжку для компанейских забав», в письме издателю, выразив свое неудовольствие по поводу запоздалой присылки рассказа «*Datura fastuosa*»¹, признавался: «Да – если бы мы не зависели так сильно от Гофмана! Один его хороший рассказ, действительно, превосходит все, что в этом роде можно прочесть в карманных изданиях» (4 октября 1819 года).

И Гофман за трактирным столиком под действием винных паров писал все больше и больше. Он вел своих читателей туда, где царит жуткая атмосфера, где добропорядочные люди впадают в безумие, навсегда теряют здравый рассудок, кончают жизнь самоубийством, где бездушная фантазмагория заменяет сентиментальный мир. Гофман сталкивает реальность с необузданной фантазией. В результате жизнь становится сказкой, страшной сказкой.

В начале лета 1819 года он начинает писать «Кота Мурра», и поздней осенью 1819 года заканчивает первый том романа, который в начале следующего года выходит в свет с весьма пространством названием: «Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов из биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсера. Издано Э. Т. А. Гофманом». Осенью 1821 года он закончил второй том романа. К написанию запланированного третьего тома так и не приступил.

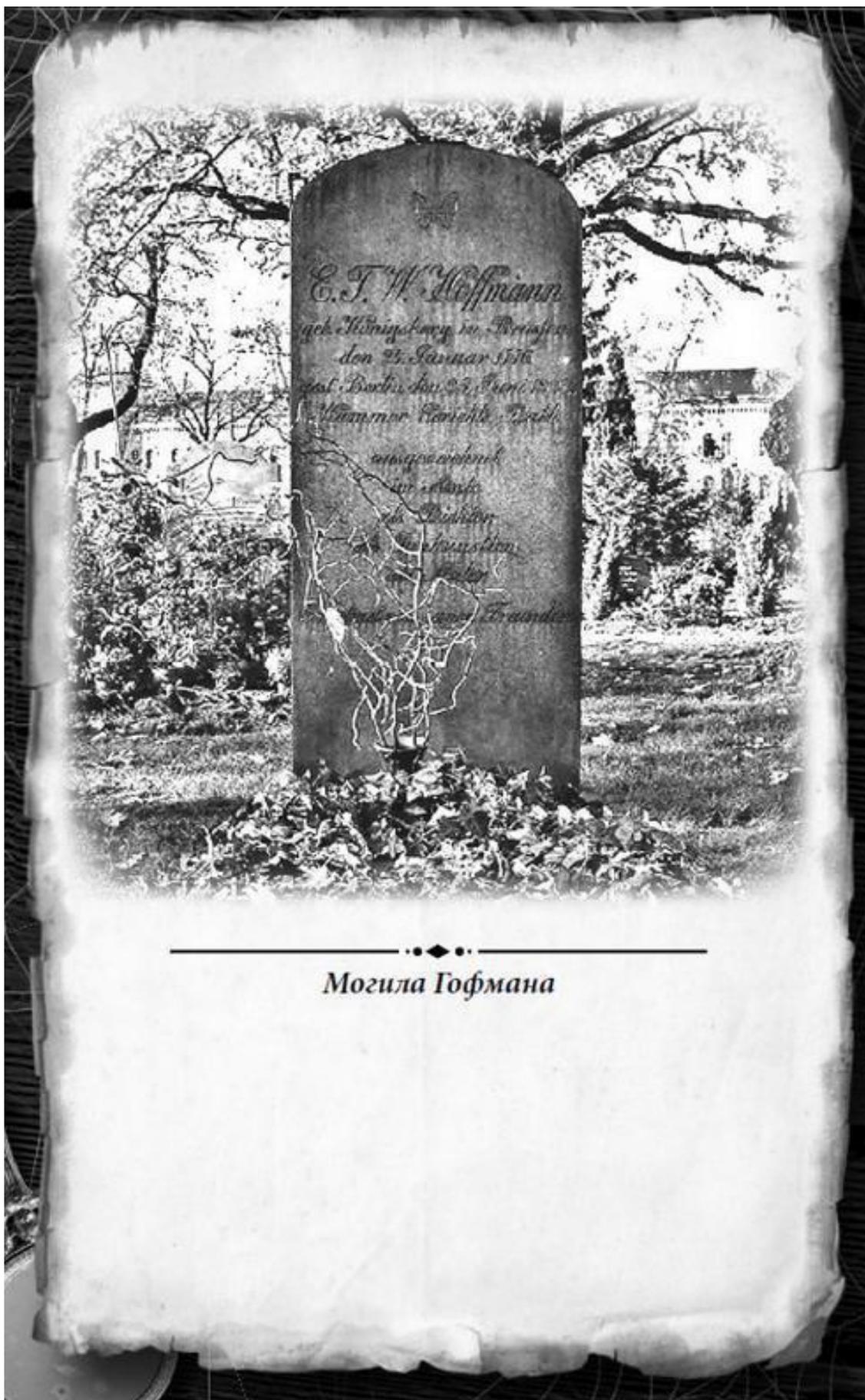
Постепенно сложился союз друзей – таких же фантазеров-романтиков, как и сам Гофман, назвавших свой кружок «Серапионовы братья» в честь ясновидящего пустычника Серапиона. На имени Серапион друзья остановили свой выбор, потому что 14 ноября 1818 года, когда возобновленное общество собралось впервые, был днем памяти святого Серапиона. Идею подсказала жена Гофмана Миша, у которой для таких случаев был наготове церковный календарь. Устав дружеского кружка гласил: свобода вдохновения и фантазии и право каждого быть самим собой. Их веселые и серьезные беседы об искусстве, о тайнах человеческой души и прочих предметах воплотились в четырехтомный цикл новелл Гофмана «Серапионовы братья» (1819–1821).

Перемещение по службе в Высший апелляционный сенат в октябре 1821 года принесло Гофману больше досуга для литературных трудов, обеспечив одновременно повышение жалованья. Шесть бутылок составляли его дневную норму, что, казалось, не вредило ему, и он вечером в трактире продолжал свои литературные труды. Только вот его здоровье не выдержало.

На сорок седьмом году жизни жизнь Гофмана начала угасать, его разбил паралич. Но назло всем приступам болезни он продолжал работать с поразительным упорством. Писатель

¹ Прекрасный дурман (*итал.*).

не смог осуществить планы создания крупных эпических произведений. Жизнь его так и осталась во многом незавершенной. Но вплоть до самой смерти ему был чужд покой. Несмотря на тяжелейшие страдания, которые приходилось выносить, он противопоставил последнему натиску болезни привычный ему юмор и стойкое мужество. Завершился жизненный путь великого художника 25 июня 1822 года, когда он намеревался продолжать диктовку очередного рассказа. Его неповторимое смелое творчество явилось свидетельством поиска гармонии и человечности в течение всей жизни.



Гофмана всегда беспечно относился к деньгам и часто был в долгах. После его кончины друзья и сослуживцы собрали в складчину 61 эю, чтобы заплатить резчику по камню Мозеру за памятник на могиле покойного писателя. На памятнике написано: «Он был одинаково хорош как юрист, как литератор, как музыкант, как живописец».

Через несколько дней после похорон кредиторы распродали с торгов вещи Гофмана: мебель, платье, шитый мундир советника, гитару, скрипки, золотые часы, книги, гравюры Калло. Знаменитый писатель не смог оставить супруге ничего, кроме долгов. Лишь один кредитор, владелец винного погребка «Лютера и Вегнера», простил долги писателя – своим остроумием и даром собирать вокруг себя компанию Гофман привлек столько посетителей, что заведение стало самым популярным в округе.

Михаил Вострышев

Щелкунчик и мышинный король

Сочельник

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел так же, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

– Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький сухощавый старичок с множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него наклеен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копать в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, – и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

– Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? – повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

– Нет, нет, – сказала Мари, – крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами...

– Лебеди конфет не едят, – перебил Фриц. – Да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают?.. То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметицах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился

маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос, и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

– Ну, детки, пойдете смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, – Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, – и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, – и тогда ты хорошо поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку! Мари только воскликнула:

– Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль, и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой – трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платье с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

– Ах, мое милое платье! – в восторге воскликнула Мари. – Ведь оно точно мое? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь – лютый зверь. Ну, да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабелями и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассмотрение книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что, казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это. Значит, пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись, – и что же увидели дети! На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзолчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера, в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотившись на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

– Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

– Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!

– Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, – возразил крестный.

– Ну, так вели ему, – продолжал Фриц, – гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

– И этого нельзя, – был ответ.

– Ну, так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

– Ничего этого нельзя, – ответил немного обиженный крестный, – в механизме все сделано раз и навсегда.

– Во-о-т как, – протяжно сказал Фриц. – Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захожу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выдвигались все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

– Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела подаренное ей новое платье, и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

Любимец

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, она увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговиц и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейр носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

– Ах! – воскликнула Мари. – Кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

– Это вам всем, милые дети, – отвечал папа, – и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал – щелк! – и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

– Ну, Мари, – сказал папа, – так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай. Хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза под села к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходявшей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услышав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось – крак-крак! – и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

– Ах, мой бедный Щелкунчик! – заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

– Э, да какой он глупый! – закричал Фриц. – Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

– Нет, нет, оставь, – со слезами сказала Мари, – я тебе не дам моего милого Щелкунчика. Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

– Потому что так надо, – возразил Фриц, – и ты в этом ничего не смыслишь. А Щелкунчика все-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

– Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

– Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, верно, была какая-нибудь на то своя причина.



Щелкунчик представлял собой популярную в те времена механическую куклу – солдатика с большим ртом, завитой бородой и косичкой сзади. В рот вкладывался орех, дергалась косичка, челюсти смыкались – и орех расколот. Подобных кукол мастерали в немецкой Тюрингии в XVII–XVIII веках.

Сказка написана под влиянием общения автора с детьми своего товарища Юлиуса Гитцига, их имена Мари и Фриц получили главные

персонажи. Писатель постарался показать, как важно добро, мужество, милосердие, что нельзя оставлять ни человека, ни детскую игрушку в беде, надо помогать им, проявлять смелость. Девочка Мари смогла увидеть в неказистом Щелкунчике его светлую и благородную душу. Она всеми силами старается защищать своего любимца. Мари и ее брат, все игрушки объединяются ради достижения возвышенной цели – победы над мышиным королем.

Только ребенок может воспринимать битву Щелкунчика с мышиной армией как драматическое действие. На самом деле она больше напоминает кукольную буффонаду, где в мышей стреляют драже и пряниками, а те в ответ осыпают противника «зловонными ядрами». Да и сама причина вражды с мышами скорее комична, чем трагична – из-за съеденного куска сала. Сказка эта весьма иронична, что замечают только взрослые.

Уже в 1820-х годах появились русские переводы «Щелкунчика». Тогда его издавали под названиями «История щипцов для орехов», «Грызун орехов и царек мышей», «Сказка про Щелкуна и мышиного царя». Это сказка имела значительное влияние на творчество многих русских писателей от Владимира Одоевского и Николая Гоголя до Михаила Булгакова.

Чудеса

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколочки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), – итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кровать, на которой легла спать куколочка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколочка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

– Правда, правда, – сказал Фриц, – надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным мерцающим полусветом.

– Приходи же скорей, Мари, – сказала мама, уходя в свою комнату, – если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет встать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол, и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

– Ах, мой милый Щелкунчик! – сказала она. – Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер...

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе ласковое выражение.

– Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куклолка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

– Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

– И чего я церемонюсь! – сказала Мари и, взяв кровать, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», – подумала Мари, и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут... – слушайте внимательно, дети! – тут за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

– Хррр-р! Часики, идите тише, тише, не шумите! Король мышиный к вам идет! Войско свое ведет! Хррр-р, хррр-р! Бим-бом! Бейте, часики, бим-бом!

И затем, мерно и ровно, часы проббили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

– Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих, маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! – так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами, и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у нее по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, также как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед затем выглянуло целых семь мышинных голов с золотыми коронами, и – представьте – все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышинового войска, которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана – сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она еже-

минутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. – и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга. Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали: «В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!»

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

– Ах, это колокольчики в игрушке крестного! – радостно воскликнула Мари.

Обернувшись к шкафу, она увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь:

– Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!

При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:

– Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель², трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

– Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они вместе с Щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись. А каково было спрыгнуть почти на два фута вниз бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

– Ах, моя милая добрая Клерхен! – воскликнула Мари. – Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила:

– О, принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Оставайтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, Полишинель, трубочист, тиролоец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, оставайтесь со мной!

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

– О, сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

– Нет, сударыня, нет, не этим!

И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

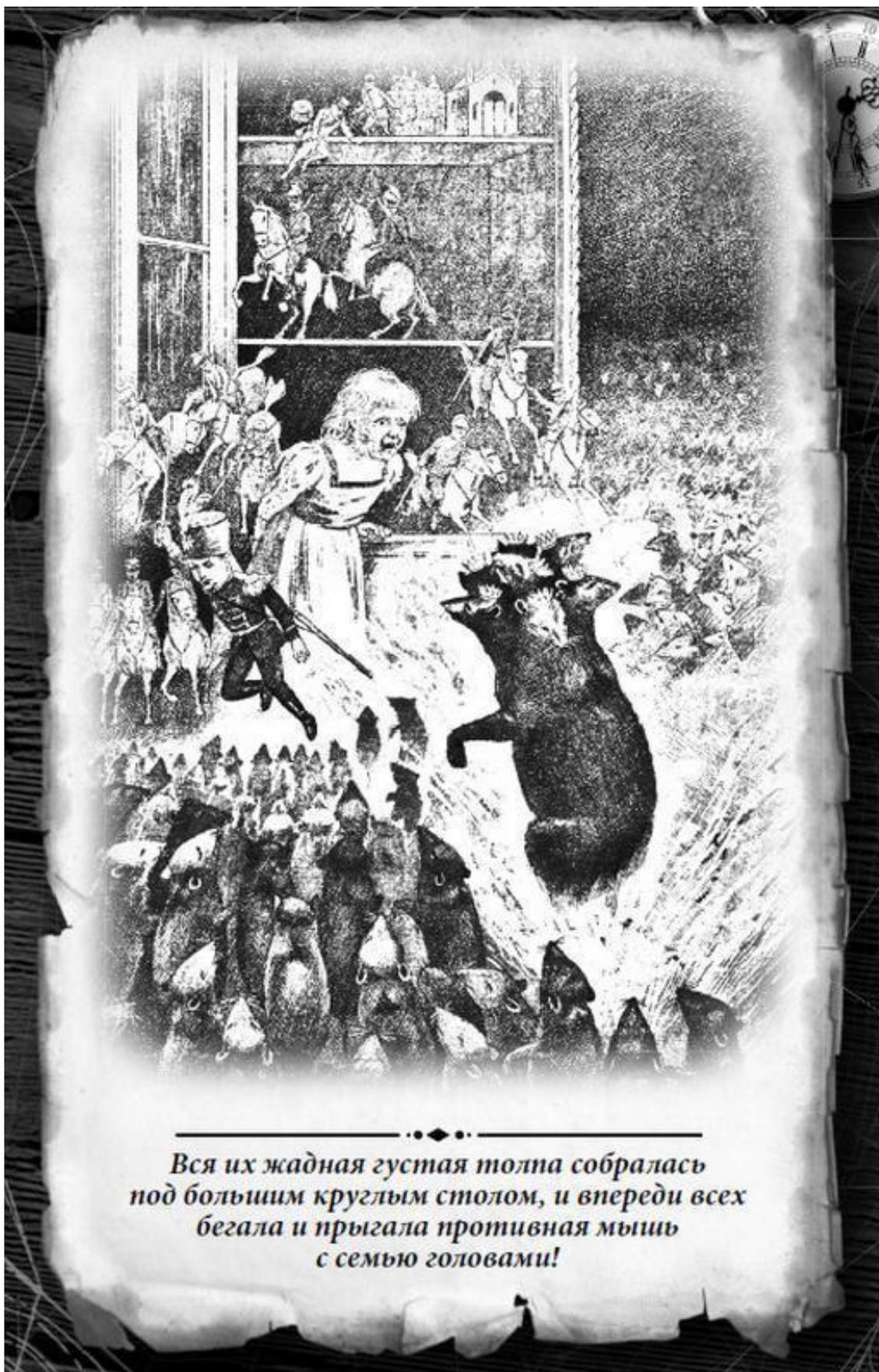
² *Полишинель* – персонаж французского народного театра: горбун, веселый задира и балагур.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари, и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако что-то будет, что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!



Сражение

– Бей походный марш, барабанщик! – громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

– Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! – крикнул он сердито и затем, обратившись к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал:

– Генерал! Я знаю вашу храбрость и опытность; вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией; самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ; кирасиры, драгуны, а главное – новые, блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия под предводительством Щелкунчиком заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! – раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Мари не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, и их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

– О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла!.. – воскликнула Клерхен.

– Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! – перебила Трудхен.

И, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить! Прр-р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! Сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиноного короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были заброшены артиллерией мышей отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был командовать им отступление и, вдохновляясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, наконец, и самому себе, так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминной

скамейке батареею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга – словом, все покатилося по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты, без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла трудно проходимая местность, – надо было перелезть через порог шкафа, – мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян, с истинно спартанской храбростью бросился в бой. Он уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей. Как только кровожадный солдат мышьиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» – так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а, напротив, сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

– Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; мышинный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

– О, мой бедный Щелкунчик! – и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось; Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

Сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», «Неизвестное дитя», «Выбор невесты» и «Королевская невеста» даны в переводе Александра Лукьяновича Соколовского (1837–1915). Кроме классических переводов прозы Гофмана Соколовский издал в своих переводах и с обширным комментарием все основные произведения Шекспира в восьми томах, что принесло ему Пушкинскую премию за 1901 год. Соколовский был также издателем и редактором «Энциклопедии для юношества».

Перевод сказки «Золотой горшок» выполнен в 1880 году философом и поэтом Владимиром Соловьевым (1853–1900), сыном известного русского историка Сергея Соловьева, оказавшим заметное влияние на развитие в России символизма и модернизма, в частности на творчество поэта Александра Блока.

Переводчик сказок «Маленький Цахес, по прозвищу Циннобер», «Песочный человек» и «Приключения накануне Нового года» – Мария Андреевна Бекетова (1862–1938), автора популярных книг для детей, многочисленных переводов французских и немецких писателей, мемуаров, в частности воспоминаний о поэте Александре Блоке и его матери – своей сестре.

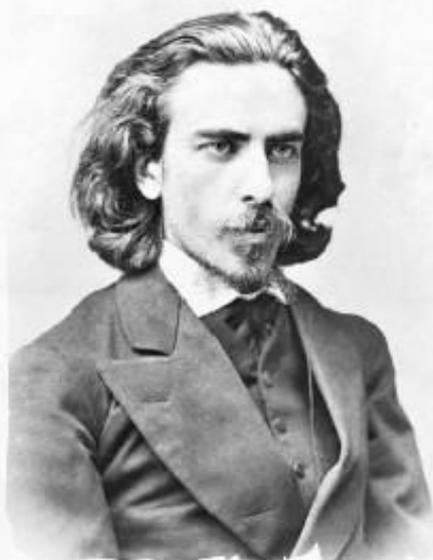
Сказочную повесть «Повелитель блох» перевел литературовед Михаил Александрович Петровский (1887–1937). Окончил историко-филологический факультет Московского университета, где впоследствии преподавал романскую филологию и историю средневековой литературы. Опубликовал ряд работ по истории немецкой литературы, а также по теории прозы и по эстетике. В 1935 году был выслан в Томск, где спустя два года расстрелян.



А.Л. Соколовский



М.А. Бекетова



В.С. Соловьев



М.А. Петровский

Болезнь

Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон.

Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:

– Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.

– Ах, милая мамочка! – залепетала Мари. – Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?

– Полно, Мари, болтать всякий вздор, – сказала мама, – какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и напугала тебя. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава Богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика ты держала на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.

– Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.

Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

– Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, веселый и здоровый, стоит в твоём шкафу.

Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали пульс у Мари, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик ее спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: «О, моя милая прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!»

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дожидаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:

– Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари!

Мари, как только увидела крестного в его желтым сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

– Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их полами сюртука, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал Мышиного короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

– Что с тобой, Мари? – спросила мама с испуганным лицом.

Но крестный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

– Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте, часики, тик-тук! Тик да тук, да тик да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте, часики, сильнее! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Прр-пурр, прр-пурр! Шнарр-шнурр, шнарр-шнурр!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера:

– Крестный, крестный! – закричал он. – Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.

Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

– Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

– О, Господи, – рассмеялся советник, – разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари.

Тут он сел к девочке на кровать и сказал:

– Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал Мышиному королю его все четырнадцать глаз. За это я тебя теперь порадую.

С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

– Видишь, как крестный любит твоего Щелкунчика.

– Ну, само собой, – возразил крестный. – Только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего, и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

– Послушай, крестный, – внезапно перебил Фриц, – зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил. Но почему же нет у него сабли?

– Ну, ты, неугомонный! – проворчал советник. – Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет!

– Правильно! – закричал Фриц. – Если он храбр, то добудет себе оружие.

– Ну, так что же, Мари, – продолжил советник, – знаешь ты или нет историю про принцессу Пирлипат?

– Ах, нет-нет, милый крестный, – отвечала Мари, – расскажи мне ее, пожалуйста.

– Я надеюсь, советник, – сказала мама, – что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете.

– О,нисколько, дорогая госпожа Штальбаум, – возразил советник, – напротив, она будет очень забавной.

– Рассказывай, крестный, рассказывай! – воскликнули дети, и советник начал так:

Сказка о крепком орехе

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:

– Гей-да! Видал ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

– Не видали, не видали!

И это не было ложью, потому что, действительно, трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было, точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы вились прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирлипатхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и когда, спустя два часа после ее рождения, рейхсканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-ай-ай!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: «Ой-ой-ой!» Но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхсканцлера за палец, и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.



Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты, и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы еще шесть нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу.

Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королев, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами... Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное время для колки свиней. Сказано – сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством. Перед обедом же дружески сказал королеве:

– Ведь ты, дружок, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу...

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки. Когда большой огонь запыхал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и – быстро проговорив: «Извините, господа, я сейчас ворочусь», – побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле, и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание.

Между тем на кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок:

– Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит под печкой большой двор. Королева была очень добрая сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

– Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйста сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут вслед за крысой прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное – семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обер-гофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах – кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже – собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью и затем, как хозяин,

сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал, и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс. Наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:

– Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:

– О, бедный несчастный супруг мой! – кричала она. – Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая – здесь, у ног ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своей семьей сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало!

И с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:

– Обер-гофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество. Но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали, также как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца.



Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело, но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и, привлеченные вкусным запахом сала, все ее семь сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейра и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

– Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтобы я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо...

– Но, впрочем, на сегодня довольно; конец рассказу в другой раз, – неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Мари, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:

– Много сразу – вредно для здоровья! Продолжение завтра.

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

– Крестный, крестный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

– Какой вздор ты городишь, Фриц! – сказала мама.

Но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

– Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик. Так почему же мне не выдумать.

Продолжение сказки о крепком орехе

– Теперь вы знаете, дети, – начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, – почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе. Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвести Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из няnek, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности, причем нянькам приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обер-гофняnek, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась – тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами! С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

– Слава Богу, она жива! – воскликнули няньки.

Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком! Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки, на плечах маленького сторбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

– О, несчастный я монарх!

Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение четырех недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное к тому средство; в противном же случае, объявил, что ему будет отрублена голова.



На подушке колыбели, как раз возле самого
лица принцессы, сидела огромная седая крыса
и прямо глядела на нее своими
противными глазами!

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение, и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

– Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами.

– О, святой инстинкт природы! – воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. – О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу – и тайна откроется!

Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом, и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в гряде книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех Кракатук и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.



Орех Кракатук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить сорокавосемифунтовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапог. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

– Сейчас же после обеда, – сказал он, – мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные семь шагов. Потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что, хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

– Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король, хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба – часовщик и звездочет – немедленно отправятся на поиски ореха Кракатука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях...

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

Конец сказки о крепком орехе

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный, и стал рассказывать далее:

– Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатука. Какие страны они посетили, какие диковинки видел – этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера³.

– О, мой милый родной Нюрнберг! – воскликнул он. – Какие бы города ни посетил путешественник – Лондон, Париж, Петервардейн, но, увидев тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!..

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отер слезы и сказал:

– Послушай, любезный друг! Какая нам польза оттого, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что! Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Кракатука.

– А что, ведь и в самом деле! – ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Кракатука, и, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:

– Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатуке во всевозможных ученых обществах, и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

– Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

– Ну, братец! Ведь ты счастливцев! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатука у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящичка небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.

– Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей

³ *Кнастер* – хороший сорт крепкого курительного табака, особенно распространенный среди немцев.

спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер⁴ 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «Кракатук».

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

– Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который, действительно, еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он, два Рождества кряду, исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто: так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

– Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жены и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли ее губы и подбородок.

Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти; зубные врачи только приговаривали:

⁴ Цванцигер – название австрийской монеты в 20 крейцеров.

– Ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

– Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, не долго думая, в рот, крепко стиснул зубы и раздалось – крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса миглом проглотила ядро, и вдруг – о чудо! – уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же уродца, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиной тяжелый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:

– Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжело, тяжело дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось, все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

– Прочь, прочь гадкий Щелкунчик!



Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого уroda, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего Мышиным королем, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также, почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат – недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и в правду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратит себе свою прежнюю красоту.

«Щелкунчик и мышиный король» стал любимой рождественской сказкой не на родине Гофмана, а во Франции и в России. Идея наполнить ее музыкой и танцем принадлежит главному балетмейстеру Петербургского Большого (Каменного) театра Мариусу Петипа. Не чуждый либеральных веяний, он пожелал приурочить постановку к столетию французской революции (1889 год). Однако затею с отрывками «Марсельезы» и танцами санкюлотов на императорской сцене пришлось оставить. Либретто Петипа в начале 1890-х годов отдали переделывать Льву Иванову, а музыку заказали Петру Чайковскому.

В основу сюжета Петипа положил не оригинал, а французский пересказ сказки Гофмана, сделанный в 1844 году писателем Александром Дюма-отцом. Под пером французского романиста сказка потеряла практически всю иронию, и стала походить на мелодраму. Талант гениального русского композитора поднял эту тему до романтической трагедии. Музыка балета впервые прозвучала в Петербурге 7 марта 1892 года в одном из симфонических концертов Русского музыкального общества, где дирижировал сам композитор. Публика ликовала. На сцене петербургского Мариинского театра 6 декабря 1892 года с не меньшим успехом прошла премьера балета. «Щелкунчик» стал одним из последних крупных произведений Чайковского, скончавшегося 25 октября 1893 года.

Балет на музыку Чайковского, по сути, и сделал сказку «Щелкунчик и мышиный король» самым популярным произведением Гофмана.



Балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. 1892



Дядя и племянник

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случилось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно, и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать, у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли Щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с мышинным королем? Рассуждая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик ее никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера.

О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. «Но почему же не помог тебе твой дядя?» – сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. «Если, – думала Мари, – все куклы называли тогда себя его подданными, то значит, пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».

Рассуждая так, умненькая Маша заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.

– Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, – говорила она, обращаясь к Щелкунчику, – если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижим, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук – я буду твой!»

Мари испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным. Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими, голубыми глазами и сказала:

– Крестный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышинным королем, сыном крысы Мышильды. Почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезными.

– Откуда эта девочка набралась такого вздора? – сказал советник медицины.

– У нее очень живая фантазия, – ответила мама, – и все это не более, чем горячечный бред.

– Да притом это неправда, – закричал Фриц, – мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крестный, между тем, ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, глядя ее по головке:

– Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном прекрасном королевстве. Что же касается твоего Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя: мышинный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами, а советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:

– Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:

– Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

Победа

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

– Ах, мыши! Это опять мыши! – с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму.

Но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышинный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставившись на нее, запищал, щелкая гадкими зубами:

– Хи! Хи! Хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика!

И, сказав это, он исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят, и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

– Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты.

Так оно и было. Жадный мышинный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу, но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего Щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист! Мышинный царь сидел снова на столике, и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

– Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушкой, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами, да кроме того четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пахтер Фельдкюммель с Орлеанской Девой, которые, впрочем, не особенно нравились Мари. Всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратившись к Щелкунчику, сказала:

– Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышинного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решила спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех бараш-

ков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанской Девой – в первый.

– Нет, это уже слишком! – воскликнула на другой день советница. – У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Представьте, что все сахарные куколочки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

– Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти!

– Ну как не быть? – весело воскликнул Фриц. – Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышинный король!

– Да, – прибавила мама, смеясь, – а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.

– О, нет! – возразил Фриц. – Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

– Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, – сказала Луиза, которая их очень не любила.

– Я думаю, – сказал советник, – что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть?

– Что за беда, если и нет, – закричал Фриц, – крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!

Все засмеялись, когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

– Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

– А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Ну, смотри, крестный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышинный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари:

– Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платьице и ботинки! А не то – ам, ам! Щелкунчика пополам! Хи, хи! Пи, пи, квик, квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

– Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

– Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышинному королю все мои книжки с картинками

и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня! О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

– Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышинным королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. Когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:



– Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику; вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожалованную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

– Мышиный король! Мышиный король! – воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати.

Но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:

– Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платье и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

– О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышиный король, смертельно раненный, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки, надетые им, как браслеты, семь корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

– Теперь, когда враг мой повержен, – продолжал Щелкунчик, – я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною; решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

Кукольное царство

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

– Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась.

– Ну, в таком случае, – возразил Щелкунчик, – я выберу самую короткую, хотя я не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились перед большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого, бывшего всегда закрытым шкафа, были открыты настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева лестница.

– Взойдите по этой лестнице, милая Мари! – крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших, драгоценных камней.

– Мы на Леденцовом лугу, – сказал Щелкунчик, – и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ довольно неучтиво называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного лежавшего по обе стороны дороги леса. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колокольчики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

– Ах, как здесь хорошо! – воскликнула восхищенная Мари.

– Мы в лесу Детских рождественских подарков, – сказал Щелкунчик.

– О, погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо, – продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладони, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

– Извините, милая фрейлейн Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

– Да что вы, балет был просто прелесть какой, и мне очень понравился! – сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

– Это Апельсиновый ручей, – ответил Щелкунчик на расспросы Мари. – Он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в Озеро миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая дыхание прохлада веяла от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами – все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.

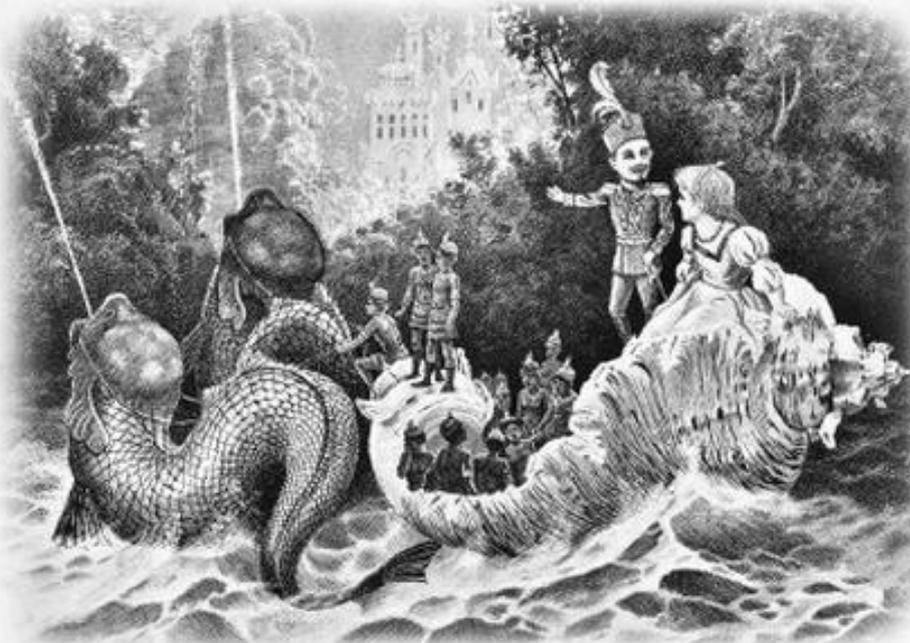
– Это деревня Медовых пряников, – сказал Щелкунчик, – и лежит она на берегу Медового ручья. Жители ее – очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдём.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

– Мы в Конфетенхаузене, – сказал Щелкунчик, – куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из Бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны: в столицу! в столицу!

Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным, розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшимися в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди, с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

– Ах, – воскликнула в восторге Мари, – это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!



— Ах, — воскликнула в восторге Мари, —
это точно то озеро, которое обещал
мне сделать крестный Дроссельмейер

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:

– Ну, нет! Крестному такой вещи не сделать! Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум... Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

Столица

Щелкунчик захлопал в ладони, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышек колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн: «Послушайте, скорее, скорее! Навстречу хорошенькой фее! Мушки жужжите! Рыбки плывите! Лебеди песенки пойте! Волны кружитесь, играйте! Птички над нами летайте! Динь-дин-дон! Динь-динь-дон!»

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: «Клип-клап! Клип-Клап! Не уступит вам арап! Рыбки прочь! Птички прочь! Клип-клап! Клип-клап!»

– Арапчата – веселый народ, – сказал Щелкунчик, с некоторым беспокойством, – но они у меня взбаламутят сейчас все море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные улыбающиеся лица.

– Ах, – радостно воскликнула она, всплеснув руками, – посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

– О, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

– Мы в Цукатной роще, – сказал Щелкунчик, – а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами.

Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дросельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

– О, милая фрейлейн Штальбаум, – ответил тот, – в этом нет ничего удивительного; Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдете, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в видеobeliska, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьями невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве пятисот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже не доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез наobelisk, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось; каждый кинулся спасаться, как мог. Великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

– Кто такой этот кондитер? – спросила Мари.

– Ах, милая фрейлин Штальбаум, – отвечал Щелкунчик, – кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь, и что такое есть он сам!

В эту минуту Мари невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших как жар звездочек.

– Мы перед Марципановым замком, – сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

– Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или, лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни, и уже хотел было приняться за купол, да жители успели его умиловить, поднеся ему, в виде выкупа, целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту слышались звуки тихой нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Мари вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

– О, милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:

– Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если бы она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышинным королем! Судите сами, может ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

– Нет! нет!

И со слезами бросились обнимать Мари.

– О, милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего поразило Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом устали они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды, все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и тоже научиться хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

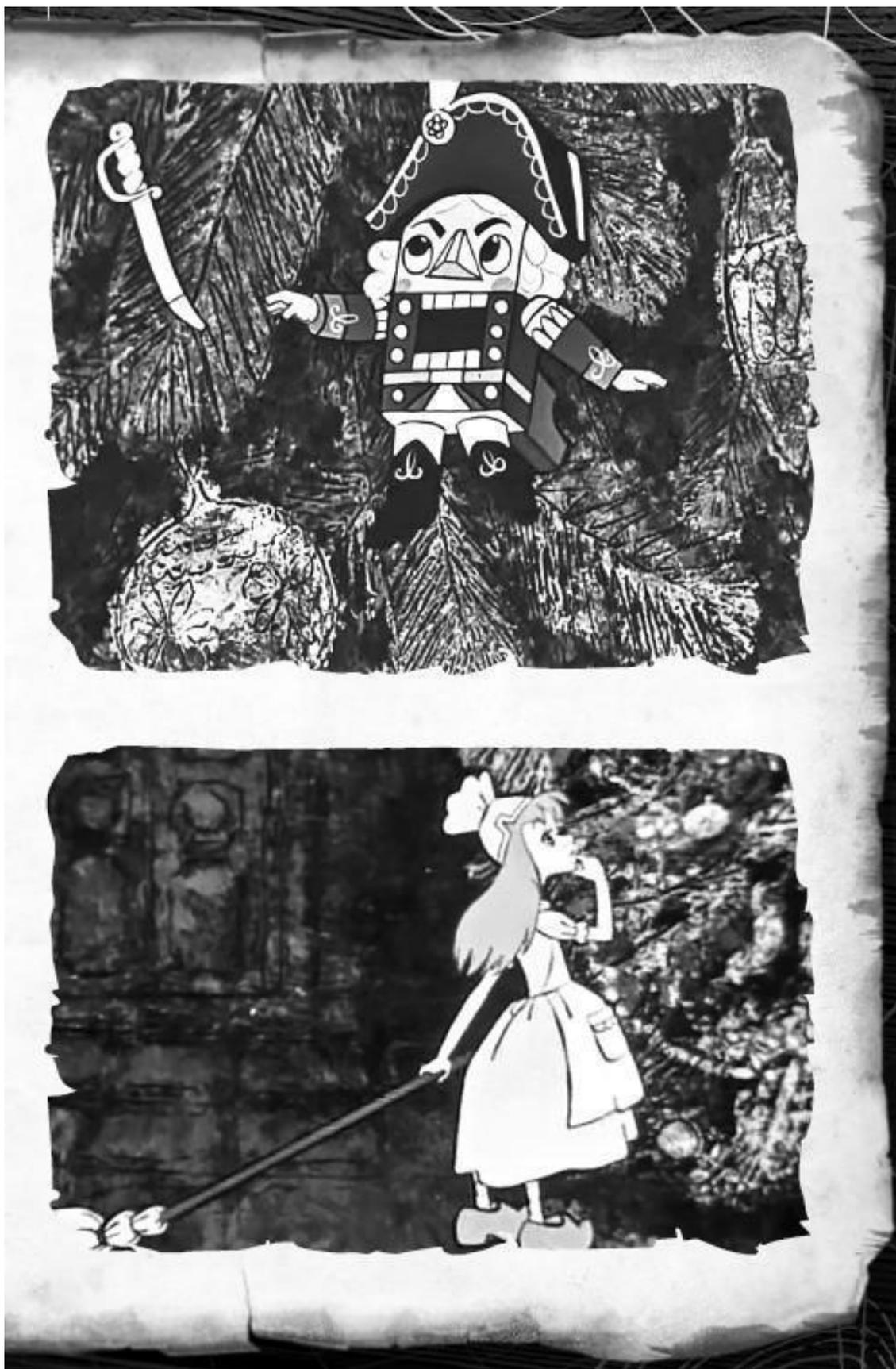
– Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности битвы с мышинным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат, и как противный мышинный король раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук,

сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких волнах поднималась куда-то высоко-высоко, все выше... выше...

Музыка балета «Щелкунчик» Петра Чайковского легла и в основу одноименного рисованного мультипликационного фильма, созданного в 1973 году (режиссер Борис Степанцев, художники Анатолий Савченко и Николай Ерыкалов). Чтобы не затенять гениальную музыку, герои в мультфильме не произносят ни одного слова. Несмотря на немоту персонажей, тридцатиминутный мультфильм очень понравился зрителям.

Не обошлось, конечно, и без советского классового подхода. Главной героиней стала не девочка из зажиточной семьи, как в сказке Гофмана, а служанка-уборщица, спасающая Щелкунчика и от мышей, и от жестоких дворянских мальчиков. Сюжет приобрел логическую и ясную концовку: Щелкунчик превращается в принца, юная уборщица становится принцессой, и они кружатся вокруг новогодней елки в прекрасном вальсе.



Заключение

– Та-ра-ра-бух! – вдруг раздалось в ушах Мари.

Не успев вскрикнуть, она почувствовала, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, девочка увидела, что лежит в своей кровати, светлый день глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:

– Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденным ей чудесами в Марципановом замке, в конце концов, заснула, и что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой, в ее кровать.

– Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дроссельмейер, и какие чудеса я видела! – воскликнула Мари, и при этом рассказала все, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала:

– Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а суцая правда, так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

– Ну, можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная кукла может двигаться и говорить?..

– Ах, мама, – перебила ее Мари, – да ведь Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера!

Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.

– Папа, папа! – почти со слезами говорила Мари. – Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицом. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышиноного короля и сказала, подавая их маме:

– Так вот смотри же, мама. Видишь эти семь корон мышиноного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то особенного блестящего металла, и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтобы это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

– Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.

– Что это?! – воскликнул он. – Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему короны. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

– Так вот в чем дело! Да ведь это те самые короны, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день ее рожденья. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:

– Крестный, крестный! Ты все знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой – твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что короны подарены мне им!

Крестный на это сделал на лице очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

– Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

– Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик – племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало, хотя, можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие они видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива. Он презрительно называл ее глупой девчонкой и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев, и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала ото всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

– Ах, милый господин Дроссельмейер, – вдруг невольно сорвалось с ее языка, – если бы вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

– Ну-ну, глупые выдумки! – вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:

– Ну, можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком. На нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими – марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышинный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу, раздавалось – крак! – и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройти вместе с ним к стеклянному шкафу.

– Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, – сказал крестный, – я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

– О, милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишённую приятности внешность! О, милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

– Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками – словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Золотой горшок

Вигилия⁵ первая

Злоключение студента Ансельма. – Пользительный табак конфектора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.

В день Вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, – и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговки; но, когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и, раздавшийся было сначала смех, разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он), хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избежать направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она, проклятая баба!» Станным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола, ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка.

Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задышался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником, – и он хотел принять участие в блаженствах Линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попить настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек – словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно

⁵ Вигилия – богослужение в канун христианского праздника.

уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользителным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада, наконец, выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намащенной стороной, – обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись, наконец, студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда, или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина, и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» – рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день Вознесения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком, я даже дошел бы до того, что, когда одна из них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что это такое играют?» – я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользителный...» Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но

скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листьями; то – что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот – он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:

«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз, – солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листьями, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы, скорей!»

И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр через свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», – подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силились разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал в моей тени, мой аромат обвеивал тебя, но ты не понимал меня. Аромат – это моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: «Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные лучи пробивались сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня; жар – моя речь, когда любовь меня воспламеняет».

И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенной желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издали раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!»

И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.

Вигилия вторая

Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. – Поездка по Эльбе. – Бравурная ария капельмейстера Грауна. – Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками.

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» – сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинового дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузиноое дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» – сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:

– Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да на боковую.

Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах».

– Ну, ну, – продолжал горожанин, – не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими – ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее пользителным табаком. В это время подошло несколько девушек; они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», – говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия – эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Ансельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конrektора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними

по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избежать злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; но, когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое там потрясло его грудь в судорожно-скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! Пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки, – ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.

– Вы, сударь, взбесились! – закричал гребец и поймал его за борт фрака.

Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:

– Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада, но, тем не менее, какое-то неведомое чувство – он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, – судорожно сжимало его грудь; и, когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет: «Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя – верь, верь, верь в нас!» И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полосы. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:

– Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

И в совершенном малодушии студент отвечал:

– Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезались мне совсем наяву, с открытыми глазами, под бузиновым деревом, у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в иступлении...

– Эй, эй, господин Ансельм! – прервал его конректор, – я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков!

Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет.

– Но, милый папа, – сказала она, – с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а на самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.

– И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор! – так вступил в беседу регистратор Геербранд, – разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе. А именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один поте-

рянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.

– Ах, почтенный господин регистратор, – возразил конректор Паульман, – вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое.

Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения – слыть за пьяного или сумасшедшего. И хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся. И так как это было единственное грязное место на всей дороге – лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конrektора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах.

– Да, – прибавил он, – бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.

Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли, и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым звонким голосом.

– Mademoiselle, – сказал регистратор Геербранд, – у вас голосок как хрустальный колокольчик!

– Ну, это уж нет! – вдруг вырвалось у студента Ансельма, он сам не знал как, и все посмотрели на него в изумлении и смущении. – Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! – пробормотал студент Ансельм вполголоса.

Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:

– Что это вы такое говорите, господин Ансельм?

Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел браурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фигурированный дуэт, который он исполнил с Вероникой, и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:

– Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму... Ну, о чем мы с вами прежде говорили?

– С величайшим удовольствием, – отвечал регистратор, и, когда все сели в кружок, он начал следующую речь: – Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак; говорят, он занимается всякими тайными науками; но как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом

рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью и притом при помощи туши перевести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специес-талеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов. Один час – от трех до четырех – на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.



Но только что он хотел взяться за этот
молоток при последнем звучном ударе
башенных часов на Крестовой церкви,
как вдруг бронзовое лицо искривилось и
осклабилось в отвратительную улыбку

Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером; его настоящая страсть была – копировать трудные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специес-талеры, и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь; лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать их архивариусу как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно; казалось, им управляла особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала лишней раз в пыль, – словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучье-сером фраке и черных атласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице, в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвенят специес-талеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и ослабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: «Дурррак! Дуррак! Дурррак! Удеррррешь! Удеррррешь! Дурррак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка, и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студента Ансельма охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались, и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня, умертви меня!» – хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил:

– Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?

Сказочная повесть «Золотой горшок», впервые опубликованная в 1814 году в сборнике «Фантазии в манере Калло». Ее события происходят в Дрездене в день христианского праздника Вознесения Господня 1813 года. Примерно в это же время в Дрездене поселился сам Гофман. Писатель и его герои ходят по городу одинаковыми путями: через Черные ворота, по Эльбскому могту, в Линковы купальни, к Озерным воротам... Гофман рассказывает про реальный быт местных жителей, как они катались на

лодке, ходили в гости друг другу, проводили народные гулянья... События разворачиваются в двух мирах, в реальном Дрездене и сказочной Атлантиде.

Повесть написана под влиянием «Ундины» Ла Мотт-Фуке и названа Гофманом «сказкой нового времени». Многие ее персонажи позаимствованы из сочинений об алхимии.

Переводчик «Золотого горшка» известный русский философ и поэт Владимир Соловьев писал: «Существенный характер поэзии Гофмана, выразившийся в этой сказке с особенной ясностью и цельностью, состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чуждого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира, в котором действуют и страдают живые лица, выводимые поэтом».



Виргилия третья

Известие о семье архивариуса Линдгорста. – Голубые глаза Вероники. – Регистратор Геербранд.

– Дух взирал на воды, и вот они заколыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно, и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары и, сгучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и, когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидела его и, охваченная горячею, томительною любовью, молила: «О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь!» И сказал юноша Фосфор: «Я хочу быть твоим, о, прекрасная лилия; но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг, ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благодетельно согревает все твоё существо, будет, раздробившись на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра – мысль!» – «Ах! – молила лилия, – но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь!» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил, наконец, существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями. Тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острую болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крыльями ударял о панцирь, так что он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полный пламен-

ного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины.

– Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, – сказал регистратор Геербранд, – а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.

– Ну, так что же? – возразил архивариус Линдгорст. – То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное изо всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-прабабушка, так что я сам, собственно говоря, – принц.

Все разразились громким смехом.

– Да, смейтесь, – продолжал архивариус Линдгорст, – то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но, тем не менее, все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.

– Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? – раздавались со всех сторон вопросы.

– Нет, – отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, – он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.

– Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, – подхватил регистратор Геербранд, – в драконы?

«В драконы», – раздалось отовсюду, точно эхо.

– Да, в драконы, – продолжал архивариус Линдгорст, – это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно – всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что, наконец, покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила.

Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линдгорста, чтобы не почувствовать какого-то, для него самого непонятого, содрогания. Особенно в сухом металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастливая случайность избавила его если не от смерти, то, по крайней мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его домой.

– Пусть обо мне думают, что хотят, – сказал студент Ансельм, – пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той

ведьмы от Черных ворот; что случилось потом – об этом я лучше не буду говорить; но, если бы я, очнувшись от своего обморока, увидел перед собою проклятую старуху с яблоками (потому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгновенно сделался удар или я сошел бы с ума.

Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к чему, и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по мнению регистратора Геербранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Линдгорста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студента Ансельма с архивариусом, а так как Геербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий, – что студент Ансельм и принял с благодарностью.

– Вы заслужите милость божью, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок, – заявил конректор Паульман.

– Милость божью! – повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка!

И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпою и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал:

– Высокочтимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты.

– Это мне весьма и чрезвычайно приятно, – быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом.

– Совсем чудной старик, – проговорил, наконец, регистратор Геербранд.

– Чудной старик! – пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую.

Но все гости засмеялись и сказали:

– Архивариус был сегодня опять в своем особенном настроении; завтра он, наверно, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки; на это не надо обращать внимание!

«Это правда, – подумал студент Ансельм, – кто станет обращать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты? И потом, зачем же, в самом деле, регистратор Геербранд стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой? Нет, нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тайный архивариус Линдгорст, и удивительно щедр; чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в двенадцать часов пойду к нему, хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками!»

Вигилия четвертая

Меланхолия студента Ансельма. – Изумрудное зеркало. – Как архивариус Линдгорст улетел коршуном, и студент Ансельм никого не встретил.

Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда все то, что в другое время представлялось важным и значительным твоему чувству и мысли, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспитанное дитя, не решается высказать. И в этом томлении по чему-то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду носится за тобою в прозрачных, от пристального взора расплывающихся образах, – в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем на разные лады хлопчут люди в своей пестрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто ты уже не принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту знаешь то состояние, в котором находился студент Ансельм. Вообще я весьма желаю, благосклонный читатель, чтобы мне и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим глазам студента Ансельма. Ибо, в самом деле, за те ночные бдения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придется еще рассказать так много чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привидению, отодвигает повседневную жизнь обыкновенных людей в некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Линдгорста, и не возымел бы даже каких-нибудь несправедливых сомнений относительно конфектора Паульмана и регистратора Геербранда, несмотря на то, что уж эти-то два почтенных мужа и доселе еще обитают в Дрездене. Попробуй, благосклонный читатель, в том волшебном царстве, полном удивительных чудес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и величайший ужас, где строгая богиня приподнимает свое покрывало, так что мы думаем видеть лицо ее. Но часто улыбка сияет в строгом взоре, и она насмешливо дразнит нас всякими волшебными превращениями и играет с нами, как мать забавляется с любимыми детьми, – в этом царстве, которое дух часто открывает нам, по крайней мере во сне, – попробуй, говорю я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится, повседневной жизни, и ты поверишь, что это чудесное царство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь, чего именно я и желаю от всего сердца и ради чего, собственно, я и рассказываю тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как сказано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Линдгорста, в мечтательную апатию, делавшую его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному местечку на траве; но едва он на него сел, как все, что он тогда

созерцал в небесном восторге, и что как бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда, стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, извивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах ее стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузинное дерево и стал кричать внутрь его ветвей: «Ах! Еще раз только мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя... Еще раз только взгляни на меня своими прелестными глазками!.. Ах! Я люблю тебя и погибну от печали и скорби, если ты не вернешься!» Но все было тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бузина своими ветвями и листьями. Однако студент Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. «Это то, – сказал он самому себе, – что я тебя всецело, всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если я не увижу тебя снова, и не буду обладать тобою как возлюбленную моего сердца... Но я знаю, ты будешь моя, – и тогда исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира». Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и зывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он, по обыкновению, предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный, худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал:

– Гей, гей! Что это там такое хныкает и визжит? Эй! эй! Да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!

Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день Вознесения, неведомо откуда закричал: «Эй! эй! Что там за шум, что там за толки?» – и так далее. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова.

– Ну, что же с вами такое, господин Ансельм? – продолжал архивариус Линдгорст (человек в светло-сером плаще был никто иной). – Чего вы хотите от бузинного дерева и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?

И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился:

– Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве, я видел в Вознесение золотисто-зеленую змейку. Ах! Вечную возлюбленную моей души, и она говорила со мною чудными кристальными звуками; но вы, вы, господин архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою...

– Неужели, мой милейший? – прервал его архивариус Линдгорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой.

Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал:

– Ну, так я расскажу вам все роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне все что угодно.

И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину, и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим.

– Все это, – заключил студент Ансельм, – я действительно видел, глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною; это отнюдь не был сон, и, пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения.

– Нисколько, – возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием, – золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей, Серпентины. Я, впрочем, знал это еще тогда, в Вознесенье, и так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло, и они довольно напелись и напились лучей.

Студент Ансельм принял это так, как будто ему только сказали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал и, хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее, он собрался с силами и хотел что-то сказать. Но архивариус не дал ему говорить: быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал:

– Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие.

Студент Ансельм посмотрел и – о, чудо! – из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков, и средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза говорили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь – можешь ли ты любить?»

– О, Серпентина, Серпентина! – закричал студент Ансельм в безумном восторге.

Но архивариус Линдгорст быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку.

– Видели ли вы золотых змеек, господин Ансельм? – спросил архивариус Линдгорст.

– Боже мой! Да, – отвечал тот, – и дорогую, милую Серпентину.

– Тише, – продолжал архивариус, – на нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней.

Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, – архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица, как будто из футляра. И нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришел он в себя, и, когда архивариус еще раз спросил:

– Ну, так почему же вы не пришли ко мне? – то он принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей.

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ, – любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите говорить. Эта фатальная тварь проделывает со мною всякие штуки, и, если она сделалась бронзовою, чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, – это, в самом деле, очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в двенадцать часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А теперь – adieu⁶, любезный господин Ансельм. Я хожу немножко скоро, и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мной. Adieu, до свидания, завтра в двенадцать часов.

Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золотисто-желтою жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком седой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез архивариус. «Но, может быть, он сам собственною особою и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Линдгорст, – сказал себе студент Ансельм, – потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных, удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь, что будет! Ты живешь и горишь в моей груди, прелестная, милая Серпентина! Только ты можешь утишить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах! Когда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая Серпентина?..»

Так громко взывал студент Ансельм.

– Вот скверное, нехристианское имя, – проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин.

Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: «Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Геербранд!» Но с ним не встретился ни тот, ни другой.

⁶ Прощайте (франц.).

Вигилия пятая

*Госпожа надворная советница Ансельм. – Cicero, De officiis.⁷ –
Мартышки и прочая сволочь. – Старая Лиза. – Осеннее равноденствие.*

– С Ансельмом ничего не поделаешь, – сказал конректор Паульман, – все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными; он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего.

Но регистратор Геербранд возразил, лукаво и таинственно улыбаясь:

– Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор! Он субъект курьезный, но из него многое может выйти, и когда я говорю «многое», то это значит – коллежский ассессор или даже надворный советник.

– Надворный? – начал было конректор в величайшем удивлении, и слово застряло у него в горле.

– Тише, тише, – продолжал регистратор Геербранд, – я знаю, что знаю! Уже два дня как он сидит у архивариуса Линдгорста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне: «Вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший! Из него будет толк». И если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи, – тс! тс! Об этом мы поговорим через годик!

С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежнею хитрою улыбкою, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конrektора неподвижно сидящим на своем стуле.

Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление. «Разве я не знала всегда, – думала она, – что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне! Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, да, он действительно любит меня, и я...»

Вероника предалась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или на Новом рынке, или на Мориштрассе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она завтракала в элегантно неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!» Мимоидущие франты украдкой поглядывают кверху, и она явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький чепчик!» Тайная советница Игрек присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковы купальни? «Кланяйтесь и благодарите, я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Те-цет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам; он одет по последней моде. «Ба! вот уж и двенадцать часов! – восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. – Как поживаешь, милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть», – продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних.

– Ах, миленькие, чудесные сережки! – вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы, в самом деле, посмотреть в зеркале эти сережки.

⁷ Цицерон, О долге (лат.).

– Что же это такое, наконец, будет? – сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение Сисеро, *De officiis* и чуть не уронивший книгу. – И у тебя такие же припадки, как у Ансельма?

Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который, против своего обыкновения, не показывался перед тем несколько дней, и Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его существо как-то изменилось. С несвойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись, и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный советник, – пробормотала Вероника, – и он поцеловал мне руку, не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле, он любит меня». Вероника снова предалась своим мечтам; но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил: «Все это глупости и пошлости, и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем; да он и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила:

– Ах, это правда, он меня не любит, и я никогда не буду надворной советницей!

– Романтические бредни, романтические бредни! – закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон.

«Этого еще недоставало», – вздохнула Вероника, и ей стало очень досадно на двенадцатилетнюю сестру, которая безучастно, сидя за пальцами, продолжала свою работу. Между тем было уже почти три часа, – как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепьяно, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом, и заворчал и задрезбужало: «Не будет он твоим мужем!»

– Неужто ты ничего не слышишь, ничего не видишь, сестра?! – воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уж ни до чего дотронуться.

Френцхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялец и сказала:

– Что это с тобою сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все у тебя стучит и звенит, нужно тебе помочь.

Но тут со смехом вошли веселые девушки-гостьи, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки – за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особенным мыслям, и что вдруг, среди бела дня, ею овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озираться по сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен с дымящимся кофе, и все

три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика – так называлась старшая Остерс – была помолвлена с одним офицером, который находился в армии, и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение; но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала.

– Милая моя, – сказала Анжелика, – ужели ты думаешь, что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела, – ах, боже мой! – так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орденами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная перемена места, – так как он не хочет оставлять своего полка, – делает для него невозможным дать о себе известие; но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он приезжает сюда и, сядя в экипаж, узнает о своем производстве в ротмистры.

– Но, милая Анжелика, – прервала ее Вероника, – как же ты это все теперь уже знаешь?

– Не смейся надо мною, мой друг, – продолжала Анжелика, – да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда, из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное часто видимым и, можно сказать, обязательным образом вступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе им известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет, и в которых черпает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь, что все это правда.

Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желание расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода и любит, чтобы приходили одни, без свидетелей. Была как раз среда, и Вероника решила, под предлогом проводить своих гостей, пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльбского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она поспешила к Озерным воротам и скоро очутилась в указанной ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидела маленький красный домик, в котором, по описанию, должна была жить фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика.

– Не живет ли здесь фрау Рауэрин?! – крикнула она в пустоту, так как никто не показывался.

Вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед нею к комнатной двери, которая отворилась вслед за вторым мяуканьем.

– Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! – так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле.

Длинная, худая, в черные лохмотья закутанная женщина! Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, ослаб-

лялся в улыбку и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы, и – чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным – два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала:

– Тише вы, сволочь!

И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало; только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободрилась, ей уже не было так жутко, как там, в снях, и даже сама женщина не казалась уже ей такою ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то животных свешивались с потолка, на полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами. Когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда; иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.

– С вашего позволения, барышня, – сказала старуха, ухмыляясь, схватила большое помело и, окунув его в медный котел, брызнула в камин.

Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма. Но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженной свечой, и Вероника уже не увидела ни зверей, ни странной утвари – это была обыкновенная, бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом:

– Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь; ну что ж, ты узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он делается надворным советником. – Вероника онемела от изумления и испуга, но старуха продолжала: – Ведь ты уж мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник. Ведь я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка! Оставь, оставь Ансельма, это скверный человек, он потоптал моих деток, моих милых деток – краснощекие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешков в мою корзину. Он связался со стариком; он третьего дня облил мне лицо проклятым аурипигментом, так что я чуть не ослепла; посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею; он никогда не делается надворным советником, он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!

Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала серьезным решительным тоном:

– Старуха! Я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела – может быть, с лишним любопытством и опрометчиво – узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите, вместо того чтобы исполнить мое желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо, потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит, но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!

Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, воскликнула:

– Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?

Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою – правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов – бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конфектора Паульмана. Старуха теперь выглядела уже совсем иначе; вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев – платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала:

– Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей воли; он попал в руки архивариуса Линдгорста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус – мой величайший враг, и я могла бы рассказать тебе про него многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья – в этом все дело! Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь.

– Но скажи мне, ради бога, Лиза!.. – воскликнула Вероника.

– Тише, дитя, тише! – прервала ее старуха. – Я знаю, что ты хочешь сказать; я сделалась такою, потому что должна была сделаться, я не могла иначе. Ну, так вот – я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его как любезнейшего надворного советника в твои объятия; но ты сама должна мне помочь.

– Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма, – едва слышно пролепетала Вероника.

– Я знаю, – продолжала старуха, – что ты смелое дитя, – напрасно, бывало, я стращала тебя букою, ты только больше раскрывала глаза, чтоб видеть, где бука; ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле пугала соседских детей. Ну, так если ты, в самом деле, хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линдгорста и зеленую змею, если ты, в самом деле, хочешь назвать Ансельма, надворного советника, своим мужем, так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в одиннадцать часов, ночью, и приходи ко мне. Я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь недалеко, в поле; мы приготовим что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи, папа уж ждет за ужином.

Вероника поспешила домой в твердом намерении не пропустить ночи равноденствия, потому что, думала она: «Лиза права, Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда; мой он есть и моим останется, надворный советник Ансельм».

Вигилия шестая

*Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками. –
Золотой горшок. – Английский косой почерк. – Скверные кляксы. – Князь
духов.*

«Но может быть и то, – сказал самому себе студент Ансельм, – что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторою жадностью наслаждался у мосье Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться». Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтой жидкостью, которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пережитые им удивительные приключения в пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: «Ах, не иду ли я к архивариусу затем лишь, чтобы видеть тебя, дорогая милая Серпентина!» В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание Линдгорстовых манускриптов. Что ему уже при входе в дом, или даже до того, могут встретиться всякие чудеса, как и прежде, в этом он был убежден. Он уже не думал о желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот недолго думая он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась и сплющилась, и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому: «Динь-динь – входи; динь-дон – к нам в дом, живо, живо – динь-динь». Он бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул:

– Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы? Наконец? сдержали слово; следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию.

С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор.

Ансельм бодро шел за архивариусом; они прошли из коридора в залу, или, скорее, – в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм вглядывался в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие чашечки лилий; странные голоса шумели и шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетанье и хохот,

и тонкие голоски дразнили и смеялись: «Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка скворец, господин Ансельм? Вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги!» Так кричало, хихикало и дразнило изо всех углов, совсем близко от студента, который тут только заметил, что всякие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидел, что это был архивариус Линдгорст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман.

– Извините, почтеннейший господин Ансельм, – сказал архивариус, – что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнюю ночью должны распуститься цветы. Но как вам нравится мой маленький зимний сад?

– Ах, боже мой, выше всякой меры, здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, – отвечал студент, – но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!

– Что тут за вранье?! – сердито закричал архивариус в кусты.

Тут выпорхнул большой серый попугай и, сев около архивариуса на миртовую ветку, и с необыкновенною серьезностью и важностью смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал:

– Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что...

– Тише, тише! – прервал архивариус старика. – Я знаю негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг! Пойдемте дальше, господин Ансельм.

Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва попевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья. Посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы; иногда он видел самого себя со стремительно простертыми руками – ах! около куста бузины... Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга.

– Серпентина, Серпентина! – закричал он громко.

Тогда архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал:

– Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки, пойдемте дальше.

Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом; он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал:

– Ну, теперь мы на месте.

Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и несколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посредине стоял большой письменный стол и перед ним – кожаное кресло.

– Вот пока, – сказал архивариус Линдгорст, – ваша рабочая комната; придется ли вам впоследствии заниматься в той другой, голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей

дочери, я еще не знаю; но прежде всего я желал бы убедиться, действительно ли вы способны исполнить, согласно моему желанию и надобности, предоставленную вам работу.

Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы, в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косоного почерка, странно улыбнулся и покачал головою. То же самое повторял он при каждом следующем листе, так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и, когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной, он не мог удержать своей досады и проговорил:

– Кажется, господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами?

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус Линдгорст, – вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит и от дурного материала, который вы употребляли.

Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях. Но архивариус Линдгорст подал ему английский лист и сказал:

– Судите сами!

Ансельм стоял как громом пораженный, – таким мизерным показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами, и – о, ужас! – довольно удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тетради школьника.

– И потом, – продолжал архивариус Линдгорст, – ваша тушь тоже плохо держится. – Он окунул палец в стакан с водой, и, когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно исчезло.

Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло, – он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастными листом в руках, но архивариус Линдгорст громко засмеялся и сказал:

– Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм; чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь, у меня, лучше вам удастся. К тому же и материал здесь у вас будет лучше! Начинайте только смелее!

Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости, потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо – это пусть ведают бог и архивариус Линдгорст, – промолвил он, – но что они не моей работы, в этом я могу поручиться головой». С каждым словом, удачно выходящим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею – и умение. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Линдгорст был в особенно веселом расположении духа; он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Геербранде, и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый рейнвейн был очень по вкусу Ансельму, и сделал его разговорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась архивариусу. Если уже перед обедом Ансельму посчастливилось в списыванье арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше, он даже сам не мог понять той быстроты

и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами: «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее, в ее любовь?» И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате: «Я к тебе близко-близко-близко! Я помогаю тебе – будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм! Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим!» И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал; даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте, и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвеваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило шесть часов, и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу; Ансельм молча встал; архивариус все еще смотрел на него как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубокоторжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма; легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее; просторный шлафрок ложился как царская мантия в широких складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие высокое, открытое чело, сжимались узкою золотою диадемой.

– Юноша, – начал архивариус торжественным тоном, – юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священо. Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоею, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которою ты выступишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свой искус; вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай! Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в двенадцать часов в своем кабинете! Прощай!

Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер. И тот очутился в комнате, в которой обедал, единственная дверь которой вела на лестницу.

Совершенно огушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко, он поглядел вверх, – это был архивариус Линдгорст – совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел.

– Эй, любезный господин Ансельм! – закричал он ему. – О чем это вы так задумались, или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в двенадцать часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета.

Ансельм действительно нашел блестящий специес-талер в означенном кармане, но это его несколько не обрадовало. «Что изо всего этого будет, я не знаю, – сказал он самому себе. – Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая Серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна и никакое враждебное начало не может ее уничтожить; а что же такое эта мысль, как не любовь Серпентины?»

Вигилия седьмая

Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать. – Рембрандт и Адский Брейгель. – Волшебное зеркало и рецепт доктора Экитейна против неизвестной болезни.

Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и прибавил:

– А пора и на покой!

– Конечно! – отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило десять часов.

И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыханье Френцхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты как Вероника оставила старую Лизу. Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, держащего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притупилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равноденствие, даже с опасностью попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец эта роковая ночь, в которую старая Лиза обещала ей помощь и утешение, наступила, и Вероника, давно освоившаяся с мыслью о ночном странствии, чувствовала себя совершенно бодрою. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол Крестовой башни одиннадцать часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи.

– Ах, голубушка, голубушка, уж здесь! Ну, погоди, погоди! – раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. – Ну, мы и пойдем, и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприятна.

Говоря так, старуха схватила Веронику своею холодною рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ.

Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, раздражающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом: «Свети, свети, сынок!» Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии, и тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух, ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сделала над собою усилие и, крепче цепляясь за старуху, проговорила:

– Нужно все исполнить, и будь, что будет!

– Так, так, дочка, – отвечала старуха, – будь только постоянна, и я подарю тебе кое-что хорошенькое да еще Ансельма в придачу!

Наконец старуха остановилась и сказала:

– Ну, вот мы и на месте!

Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него – котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и, наконец, голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ и покрывало и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставившись на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, – были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, – все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которою стала мешать в кипящей массе, а Вероника, по ее приказанию, должна была пристально глядеть в котел и направить при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и сверх того локон волос, которые Вероника отрезала со своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила. При этом старуха испускала непонятные, в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрерывно кружась, визжал и вскрикивал.

Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену; напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции; дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком сильны и что вообще неблагоприятно ехать в такую темень в ночь равноденствия; но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая: я дам почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрездене, где у «Золотого Ангела», или в «Шлеме», или в «Городе Наумбурге» меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот ты едешь во тьме и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный, перебегающий свет. Подъехав ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине его, около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, – две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы. Почтальон ругается, молится и бьет лошадей – они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее косы, и длинные каштановые волосы свободно развеваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника; но страх оковал это лицо ледяным потоком; мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, который не может вырваться из мучительно сдавленной груди, – во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, повинувшись могучим чарам! Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее сидит, согнувшись, на земле длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами. Из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или Адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебе отважную мысль противостать таинственным силам огненного круга. Эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам – один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул: «Гейда!», или: «Что там такое?», или: «Что вы там делаете?». Тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево, и все разом исчезло в густом дыму. Нашел

ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием, – этого я сказать не могу, но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни другой кто, не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревели и завывало наперерыв, как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла. Тогда старуха закричала:

– Вероника, дитя мое милое, смотри туда, на дно, что ты там видишь?! Что ты там видишь?!

Но Вероника не могла ответить, хотя ей и казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле. Но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула:

– Ах, Ансельм, Ансельм!

Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила о. места и, вертясь с дикими, отворотительными телодвижениями, закричала:

– Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил – фуй, фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его!

Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал:

– Эй, вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!

Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день, она лежала в своей кровати, и Френцхен стояла перед нею с дымящеюся чашкою чая и говорила:

– Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь, как в горячке, без сознания и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором.

Вероника молча взяла чай, и, пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. «Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было двадцать третьего сентября? Или, может быть, я еще вчера заболела, и мне все это вообразилось, а заболела я от постоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, которая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала?»

Тут вышедшая перед тем Френцхен вернулась в комнату, держа в руках совершенно промокший плащ Вероники.

– Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом, – сказала она. – Должно быть, буря ночью растворила окно и опрокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя.

Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожною дрожью натянула она на себя одеяло, и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди; схватившись рукою, она как будто ощупала медальон. Когда Френцхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое, круглое, гладко полированное металлическое зеркало.

– Это подарок старухи! – воскликнула она с живостью, и как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее.

Лихорадочный озноб прошел, и всю ее проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать: «Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь!» Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но, наконец, Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: «Ах, это вы, любезная *mademoiselle* Паульман! Но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейке?» Вероника громко засмеялась этим странным словам. Вслед за тем она очнулась как бы от глубокого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь отворилась, и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал: «Ну! Ну!» Засим он написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал: «Ну! Ну!» – и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.

Вигилия восьмая

Библиотека с пальмами. – Судьба одного несчастного Саламандра. – Как черное перо любезничало со свекловицею, а регистратор Геербранд весьма напился.

Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Линдгорста. Эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами Серпентины, – причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание, – он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи, и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешав в чернилах какую-то черною палочкою и обменяв старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем двенадцати часов взошел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертою, и архивариус Линдгорст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал:

– Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагаватгиты!

Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками. Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат, ими распространяемый, поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: «Господин студент, господин студент! Не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете – нос расшибете. Ха, ха! Господин студент, наденьте-ка пудермантель, кум филин завьет вам тупей». Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец вошел в лазурную комнату; порфир с золотым горшком исчез, вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом – такое же бархатное кресло.

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус Линдгорст, – вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию; вы приобрели мое доверие. Но теперь остается еще самое важное, а именно: нужно списать или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате, и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность: неверная черта или, чего боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье.

Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высывались маленькие изумрудно-зеленые листья; архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.

– Смелее, молодой человек! – воскликнул архивариус. – Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпентина тебе поможет!

Его голос звучал, как звенящий металл, и, когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении в библиотеке.

Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами – послами каких-нибудь планет – о том, что должно случиться с ним и с дорогой Серпентиной. «А может быть, также, – думал он далее, – его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии, – мне же подобает усердно приняться за работу». И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвевала его приятными сладкими ароматами; слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергаментов, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке Саламандра с зеленою змеею». Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» – повеяло из листьев, и – о чудо! – по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка.

– Серпентина! Дорогая Серпентина! – воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидел, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его.

Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из стволов показывались колючки, но Серпентина искусно вилась и змеилась между ними, влача за собою свое развевающееся блестящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки дерев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущал электрическую теплоту ее тела.

– Милый Ансельм, – начала Серпентина, – теперь ты скоро будешь совсем моим; ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих ошастливит навсегда.

– Милая дорогая Серпентина, – сказал Ансельм, – когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только ты будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел.

– Я знаю, – продолжала Серпентина, – что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда, ради своего каприза, поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет: ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все в подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца, и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня.

Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал в его фибрах и нервах; он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души и, точно яркий луч, зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли.

– Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина, – невольно воскликнул он, – только в тебе жизнь моя!

– Не покину тебя сегодня, – сказала она, – пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени Саламандров, и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр (это был мой отец), гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный, восточный ветер, тебя не разбудит!» Он подошел; тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидел ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии, которой ароматы тщетно разливались по всему саду в несказанных жалобах по возлюбленной дочери. А Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его: «Сочетай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно». – «Безумец, чего ты требуешь? – сказал князь духов. – Знай, что некогда лилия была моею возлюбленною и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить, и только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила лилию, и ее листья достаточно окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело, и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя». Саламандр не послушался предостережений владыки; полный пламенного желания, заключил он зеленую змею в свои объятия, она распалась в пепел, и из пепла рожденное крылатое существо с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния, и побежал он, брызжа огнем и пламенем, по саду и опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали, спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал: «Отбушевал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи, – ниспади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобой, и дразнят тебя, и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым существом». Бедный Саламандр, потухший, ниспал, но тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у Фосфора, и сказал: «Владыка, кому больше жаловаться на Саламандра, как не мне? Не я ли украсил моими лучшими металлами прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохранял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудных красок? И все же я заступлюсь за бедного Саламандра; ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведal, привела его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад. Избавь же его от тяжкого наказания!» – «Его огонь теперь потух, – сказал владыка духов, – но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, будут лишь издали в глухих отзвучиях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, – в это несчастное время вновь возгорится огонь Саламандра, но только до человека разовьется он и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии, он снова

заживет в священной гармонии со всею природою, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда, в это бедное жалкое время внутреннего огрубения и слепоты, найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он сбросит с себя бремя прошлой жизни. Если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, – тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся трое таких юношей и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям». – «Позволь мне, владыка, – сказал земной дух, – сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю; я выложу его лучами, взятыми у алмаза; пусть в его блеске ослепительно чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвевать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленною в Атлантиде». Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец и есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором как условие обручения со мною и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно – это называется наивной поэтической душой. Часто такую душою обладают те юноши, которых, по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования, толпа презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм! Ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор, ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня, и хочешь моим быть навеки. Прекрасная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем счастливо, соединившись, жить блаженною жизнью в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противостоят саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хорошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение и свою силу, так как в стонах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне внутрь, тогда как мой отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри Саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна, так как твой детски чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели!

– О, моя, моя Серпентина! – воскликнул студент Ансельм. – Как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить тебя вечно?!

Тут поцелуй запылал на его устах; он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла, пробило шесть часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел

рел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и – о чудо! – копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и, пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце – любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпою на голове и палкой в руках. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал:

– Так я и думал! Ну, вот ваш специес-талер, господин Ансельм, теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням, – за мною!

Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум – пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд сожалел, что не взял с собою огнива, но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул:

– Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно.

И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки.

– Смотрите, какой химический фокус! – сказал регистратор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре.

В Линковых купальнях регистратор Геербранд – вообще человек добродушный и спокойный – выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью: друг ли он ему или нет? – пока наконец не был уведен домой студентом Ансельмом, после того как архивариус Линдгорст уже давно ушел.

Вигилия девятая

Как студент Ансельм несколько образумился. – Компания за пушием. – Как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина, и как тот весьма за это рассердился. – Чернильное пятно и его следствия.

Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и, краснея, признается, как сердечно она его любит и как все помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно налетающая на него сила неудержимо тянула его к забытой Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хотела, как будто он был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидел Серпентину в образе прелестной девы, и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандра с зеленою змеею, – как раз в следующую за тем ночь Вероника живее, чем когда-либо, явилась его глазам. Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражениях глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим, сверх того, повергнуть его в несчастье и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо; он никак не мог изгнать ее из мыслей. Это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила увлекла его к Пирнаским воротам, и только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал:

– Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! Amice!⁸ Amice! Где это вы пропадаете, скажите, ради бога? Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!

Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил:

– Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду тебе господина Ансельма!

Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и, когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости, он ударился об стол, и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокрадась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему, через его плечо стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба; мысли, образы мелькали и исчезали – архивариус Линдгорст – Серпентина – зеленая змея, – потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и определилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была

⁸ Друг! (лат.).

опять-таки Вероника, и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленою змеею была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого сверх того так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра.

– Да, да, это Вероника! – воскликнул он громко и, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием.

Глухое «ах!» вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе.

«О, я счастливец! – вздохнул восхищенный студент. – То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности».

– И ты, в самом деле, женишься на мне, когда будешь надворным советником? – спросила Вероника.

– Всеконечно, – отвечал студент Ансельм.

Тут закрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами:

– Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпускаю, вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистратор Геербранд.

– Ах, добрейший господин конректор, – возразил студент Ансельм, – разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдгорсту списывать?

– Смотрите-ка, – сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого.

Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Линдгорсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяла ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться не одного ласкового взгляда, брошенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а, может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится ото всех фантастических грез, которые, в самом деле, могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Геербранд действительно явился после обеда, и, когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму – так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, – будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер.

– Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор! – воскликнул конректор Паульман.

И вот регистратор Геербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшем, как фосфор; он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпентину, – внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. «Серпентина, Вероника!» – вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Геербранд воскликнул очень громко:

– Чудной, непонятный старик этот архивариус Линдгорст. Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!

Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Геербрандом, сказал:

– Это происходит оттого, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея.

– Что? Как? – спросил конректор Паульман.

– Да, – продолжал студент Ансельм, – поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь в Дрездене со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены.

– Господин Ансельм, господин Ансельм! – воскликнул конректор Паульман. – У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?

– Он прав, – вступился регистратор Геербранд, – этот архивариус, в самом деле, проклятый Саламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки... Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг!

И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.

– Регистратор, вы взбесились! – закричал рассерженный конректор. – Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?

– Ах, – сказал студент, – ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.

– Что? Я – птица филин, завиваю тупеи?! – закричал конректор вне себя от гнева. – Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!

– Но старуха еще сядет ему на шею! – воскликнул регистратор Геербранд.

– Да, старуха сильна, – вступился студент Ансельм, – несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша – скверная свекла. Но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям – ядовитым канальям, которыми она окружена.

– Это гнусная клевета! – воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. – Старая Лиза – мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее *cousin germain*⁹.

– Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнув жалким образом? – вопрошал регистратор Геербранд.

– Нет, нет! – кричал студент Ансельм. – Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидел глаза Серпентины!

– А кот их выцарапает! – воскликнула Вероника.

– Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех!.. – вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. – Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел.

С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкав, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.

Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом.

– *Vivat*¹⁰ Саламандр! *Pereat*¹¹, *pereat* старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!

Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала на диван. Но вот отворилась дверь, все вне-

⁹ Двоюродный брат (*франц.*)

¹⁰ Да живет (*лат.*)

¹¹ Да погибнет (*лат.*)

запно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.

– Доброго вечера, доброго вечера, – заскрипел забавный человечек. – Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа.

И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью. Но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста.

– Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг! – прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы.

Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно.

«Ей одной, – говорил он сам себе, – обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив».

Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках – герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною иронической усмешкою и спросил:

– Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?

– Ах, вам, конечно, попугай... – отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.

– Э, я и сам был в компании, – возразил архивариус, – разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конrektора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так как вы до сих пор хорошо работали.



«Как это архивариус может плести такой вздор?» – сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее, он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурей, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом закружились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» – так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стучался при малейшем усилии – поднять руку или сделать движение. Ах! Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.

Вигилия десятая

Страдания студента Ансельма в склянке. – Счастливая жизнь ученика и писцов. – Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. – Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случилось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, – ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твоё дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О, Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облекли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии? Ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерял для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный сладостный голос, милая Серпентина!» – так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью. Вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти lamentации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.

– Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастья! – воскликнул он. Как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевелинуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?

– Вы бредите, господин студиозус, – возразил один из учеников. – Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие

трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «*Gaudeamus igitur...*»¹² – и благодушествуем.

– Они совершенно правы, – вступился писец, – я тоже вдоволь снабжен специес-тале-рами, так же как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того, чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.

– Но, любезнейшие господа, – сказал студент Ансельм, – разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?

Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!» – «Ах, – вздохнул студент, – они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость. Но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит, и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастья, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышечкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, взглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:

– Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!

– Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! – сказал студент Ансельм. – Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!

– Ого, – возразила старуха, – какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжег мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком, и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу, но моя кума, крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.

– Оставь меня, чертово детище! – закричал студент Ансельм, полный гнева. – Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупить. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покоюсь я твоей силой; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину. Я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!

Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:

¹² «Будем же радоваться...» (лат.) – первые слова средневекового студенческого гимна.

– Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа!

Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услышал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай затрещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:

– В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!

Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладела ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.

– Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки – чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! – так закричал он.

Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» – и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завывала от боли; но, когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» – закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов. Старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал. Но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» – загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями металась кругом в жестокой схватке кот и попугай; но, наконец, попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок – под ним лежала гадкая свекла.

– Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, – сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.

– Хорошо, любезный, – отвечал архивариус, – а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленькую

doiseur¹³, шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.

– Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! – воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него.

Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:

– Серпентина, Серпентина!

И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидел опять величественную высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством.

– Ансельм, – сказал князь духов, – не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим тобою, виновно в твоём неверии. Ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив!

Молния прошла внутри Ансельма, трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо; его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате, – стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой прелестной Серпентины.

¹³ Знак внимания (*франц.*).

Вигилия одиннадцатая

Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоисступления. – Как регистратор Геербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках. – Признание Вероники. – Помолвка при дымящейся суповой миске.

– Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить головы и довести нас до таких излишеств?

Так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками, и посредине которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша.

Вчера, после того как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Геербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стучаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая Френцхен не уложила с великим трудом исступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Регистратор Геербранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал:

– Ах, дорогой конректор, не пунш, который mademoiselle Вероника приготовила превосходно, нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно mente captus¹⁴? И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? «Один дурак плодит многих» – извините, это старая пословица. Особенно, когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае.

– Что за вздор! – отвечал конректор. – Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом.

– Может быть! – сказал регистратор Геербранд. – Но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно; всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало.

– Это был я, – возразил конректор, – ибо я храплю весьма сильно.

– Может быть! – продолжал регистратор. – Но, конректор, конректор! Не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил... Вы не знаете... О, конректор, конректор! – Регистратор Геербранд вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом: – О, конректор, конректор! – и быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку.

«Ансельма теперь и на порог к себе не пушу, – сказал конректор Паульман сам себе, – ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка. Регистратор вот уже попался, я еще пока держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может, наконец, ворваться и начать свою игру. Итак, apace, Satanas!¹⁵ Прочь, Ансельм!»

Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась и всего охотнее оставалась одна. «И эта у Ансельма на душе, – со злобою сказал конректор, – хорошо, что он совсем не показывается; я знаю, что он меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит». Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко.

¹⁴ Сумасшедший (лат.).

¹⁵ Изыди, сатана! (лат.)

У Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом:

– Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно заперт в стеклянной банке.

– Как? Что? – воскликнул конректор Паульман. – Ах, боже, боже! Вот и она уж бредит, как регистратор; скоро дойдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый мерзкий Ансельм!

Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять: «Ну! ну!» – но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее:

– Нервные припадки – само пройдет, на воздух – гулять, развлекаться, театр – «Воскресный ребенок», «Сестры из Праги»¹⁶, – пройдет!

«Никогда доктор не был таким красноречивым, – подумал конректор Паульман, – просто болтлив!»

Прошло много дней, недель, месяцев. Ансельм исчез; но и регистратор Геербранд не показывался, как вдруг 4 февраля ровно в двенадцать часов дня он вошел в комнату конrektора Паульмана в новом, отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил:

– Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери *mademoiselle* Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце! Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и в веселии отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники; ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение *cum nomine et sigillo principis*¹⁷, каковой и храню в своем кармане.

– Ах, ах! Господин регистр... Господин надворный советник Геербранд, хотел я сказать, – пробормотал конректор.

– Но только вы, почтеннейший конректор, – продолжал новопроизведенный надворный советник Геербранд, – только вы можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я втайне *mademoiselle* Веронику, и могу похвалиться с ее стороны не одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Геербранд, прошу у вас руки вашей любезной дочери *mademoiselle* Вероники, с которой я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество.

Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул:

– Эй, эй, эй, господин регистр... Господин надворный советник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я со своей стороны не имею ничего против. Может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник? Знаем мы эти штуки!

В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Геербранд подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался на ее щеках, глаза загорелись живее, и она воскликнула:

– Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала, и которым радовалась несколько месяцев тому назад!

¹⁶ Названия театральных пьес.

¹⁷ С именем и печатью государя (*лат.*).

– Как это возможно, – вступился надворный советник Геербранд, несколько сконфуженный и обиженный, – когда я только час тому назад купил это украшение в Замковой улице за презренные деньги?

Но Вероника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение друга Геербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала:

– Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж, пусть так и будет! Я обещаю вам сердце и руку, но я должна вам сначала, – вам обоим: отцу и жениху, – открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе, я должна вам это сказать сейчас же, хотя бы остыл суп, который Френцхен, как я вижу, ставит на стол.

И, не дожидаясь ответа конrektора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала:

– Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и, когда регистратор Геербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он, и никто другой, будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекресток; она заклинала там адских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху; я слышала ее вопли, но помочь было нечем; когда попугай съел ее как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось.

Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон и, подавая то и другое надворному советнику Геербранду, продолжала:

– Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала, бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локон сохраните на вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанических чар и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена.

– Ах, боже, боже! – воскликнул конректор Паульман, преисполненный скорби, – она сумасшедшая, она сумасшедшая, она никогда не может быть надворной советницей, она сумасшедшая!

– Нисколько, – возразил надворный советник Геербранд, – мне известно, что mademoiselle Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму, и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, которая, по-видимому, есть не кто иная, как известная гадалщица от Озерных ворот, старуха Рауэрин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловерное действие, о чем мы читаем уже у древних. А что mademoiselle Вероника говорит о победе Саламандра и сочетании Ансельма с зеленой змеей – это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом.

– Читайте это за что хотите, любезный надворный советник, – сказала Вероника, – хоть за нелепый сон, пожалуй.

– Отнюдь нет, – возразил надворный советник Геербранд, – ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его к всевозможным безумным выходкам.

Конректор Паульман не мог долее удерживаться, его прорвало:

– Пойдите, ради бога, пойдите! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу, или действует на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок. Ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасения за потомство, – не наследовало бы оно родительского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам как жениху и невесте поцеловать друг друга.

Что и было тотчас же исполнено, и, прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геербранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме на Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимо проходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали: «Что за божественная женщина надворная советница Геербранд!»

Вигилия двенадцатая

Известие об имени, доставшемся студенту Ансельму, как зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с Серпентиной. – Заключение.

Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестною Серпентиной, переселился в таинственное чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я томился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассеянности; короче, я впал в то состояние студента Ансельма, которое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой вигилии.

Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы закончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи (может быть, родственники, пожалуй, разные *cousins germains* убитой ведьмы) подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только свое я – бледное, утомленное и грустное, как регистратор Геербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгорста:

«Ваше благородие, как я известился, вы описали в одиннадцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время – поэта Ансельма, и бьетесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моею дочерью в хорошенькое поместье, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в государственном совете спорный вопрос: может ли Саламандр под присягою и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу, и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как, по Габалису и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают доверия. Хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного для париков и фраксов пагубного воспламенения. Несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. (Как хотел бы я и двух остальных также сбить с рук!) Поэтому, если вы хотите написать двенадцатую вигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите, и это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр Линдгорст, королевский тайный архивариус».

Эта несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, – о чем я, обязавшись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель, – но он не принял этого так дурно, как я мог

опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он, в сущности, согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей, потому что, может быть, западет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем, в день Вознесения, поищет и найдет в кусте бузины. Несчастье же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Линдгорсту, который уже ждал меня на крыльце.

– А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений. Идемте!

И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя.

– Вот вам, – сказал он, – любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганна Крейсера. Это – зажженный арак, в который я бросил немножко сахара. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок, и в то время, как вы будете сидеть и смотреть и писать, я для собственного удовольствия и вместе с тем, чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале.

– Как вам угодно, досточтимый господин архивариус, – возразил я, – но только, если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не...

– Не беспокойтесь, любезнейший! – воскликнул архивариус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в пламени.

Слегка отдувая пламя, я отведал напиток – он был превосходен!

С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издали возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда, но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как бы с детской радостью кружится и свивается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливицу: «Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, наш аромат есть стремление любви, мы любим тебя, мы твои навсегда!» Золотые лучи горят в пламенных звуках: «Мы – огонь, зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть желание, и не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание!» Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья: «Приди к нам, счастливый возлюбленный! Огонь есть желание, но надежда – наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живет в груди твоей». Ручьи и источники плещут и брызжут: «Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому что ты нас понял». Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички: «Слушай нас, слушай нас! Мы – радость, блаженство, восторг любви!» Но с тихой тоскою смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы – сплетающимися акантовыми листьями, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительно испещренный мрамор ступеней... «Нет! – восклицает он в избытке восторга, – она уже недалеко!» И вот выходит в величавой красоте и прелести Серпентина изнутри

храма; она несет золотой горшок, из которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах; так смотрит она на Ансельма и говорит: «Ах, возлюбленный! Лилия раскрыла свою чашечку, высочайшее исполнилось, есть ли блаженство, подобное нашему?» Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания; лилия пылает пламенными лучами над его головою. И громче колышутся деревья и кусты; яснее и радостнее ликуют источники; птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся; веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, на земле – празднуется праздник любви! Молнии сверкают в кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли; высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют, шелестя крылами, – это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взоры ли это? слова ли? пение ли? Но ясно звучит: «Серпентина! Вера в тебя и любовь открыли мне сердце природы! Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота, из первобытной силы земной, еще прежде чем Фосфор зажег мысль, – эта лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я, счастливец, познал высочайшее: я буду вечно любить тебя, о, Серпентина! Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно!»

Маленький Цахес, по прозвищу Циннобер

Глава 1

Маленький уродец. – Великая опасность, грозившая пасторскому носу. – О том, как князь Пафнутий вводил просвещение в своей стране, а фея Розабельвэрде появилась в женском приюте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.